



КАМИЛ ИКРАМОВ

СЕМЁНОВ

ТОНКИЙ, ЗВОНКИЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ

Его заметили сразу. На нем были крепкие кожаные ботинки, толстые суконные брюки, черная гимнастерка, широкий ремень с белой бляхой и буквами «РУ», фуражка с лакированным козырьком.

— Как с выставки, — сказал кто-то.

А кто-то еще догадался:

— Так, наверно, и сняли с выставки.

Вскоре мы смогли убедиться в верности такого предположения. В нашем красном уголке были витрины с изделиями лучших учащихся из довоенных выпусков: шестерни и шестеренки, валы и валики, штангенциркули, микрометры — продукция фрезеровщиков, токарей и слесарей-инструментальщиков. Там же, на самом видном месте, под стеклом, распяленная на гвоздях, висела законная форма РУ. Такую форму ученикам ремесленных училищ выдавали до войны.

Так вот теперь эта витрина была пуста.

Мы все ходили в чем попало, а со склада нам выдавали только бывшие в употреблении спецовки, телогрейки и ватные брюки. Новичку мы не завидовали, хотя заинтересовались им. Высказывались предположения, что он родственник кого-то из работников училища. Дело в том, что по возрасту да и по росту ему еще рано было к нам. Видимо, сделали исключение. И форму с витрины сняли из-за этого, да еще потому, конечно, что она была очень маленького размера и вряд ли подошла бы кому-нибудь еще.

Выглядел новенький плохо. Худой, бледный и какой-то настороженный. Сам он ни с кем не заговаривал, на вопросы отвечал односложно.

Про таких говорят: тонкий, звонкий, прозрачный, шейка лапшевная, а ножки макаронные.

Фамилия у него была самая обычная, не запоминающаяся — Семенов. По фамилии его вначале никто не звал.

— Эй, ты, с выставки, принеси концы!

Или:

— Звонкий, сбегай за эмульсией!

Он каждого из нас слушался.

Его почти не обижали, вернее, он никогда не обижался. Однажды помощник мастера Ваню Григорян перепутал его простую фамилию:

— Эй, Степанов! Сбегай в кузнечный, узнай насчет поковок.

Новенький как ни в чем не бывало перестал подметать и побежал в кузнечный цех. Дотошный Ваню потом заметил свою ошибку и спросил:

— Зачем же ты меня не поправил? Ты ведь Семенов, а не Степанов.

— Вы не беспокойтесь, пожалуйста, — ответил новенький. — Семенов, Степанов, Иванов, Сидоров, Николаев — какая разница! Я ведь своей настоящей фамилии все равно не знаю. Не помню.

— Это как же так? — удивился Григорян. — Безпризорник, что ли?

— В прошлом году я, наверное, помнил свою фамилию, а в этом не помню.

«Как это может быть? В прошлом году, наверное, помнил...» — удивились мы, а Ваню спросил еще:

— Но ведь зовут тебя Алексей?

Новенький, запинаясь, сказал:

— Наверно. Так записано в документах.

Потом кто-то придумал игру. Зла в ней было, пожалуй, не очень много, зато ума еще меньше. Семенова стали окликать разными фамилиями и разными именами. Он откликался на любое имя и на любую фамилию, всегда как-то безошибочно угадывая, что обращаются именно к нему.

В нашем училище, находившемся на территории знаменитого московского завода, учили тогда только первые два месяца, потом сразу ставили к верстаку или к станку. Надо было давать продукцию фронту.

Мы были токари. В сыром полуподвале в шесть рядов стояли допотопные токарные станки. Под низким потолком, громяхая в разбитых подшипниках, крутились валы трансмиссий, шлепали по шкивам приводные ремни, сшитые в десяти местах. Мы точили донышки для реактивных снарядов, для гвардейских минометов, устрашающих врага «катюш». Официально никто нам этого не говорил, это был секрет, который знали все.

Поковки возили из соседнего кузнечного цеха. Мы проходили их резцами по два шаблона поверху и подрезали, оставляя в центре небольшой штырек. На последующих операциях этот штырек срезали совсем.

Семенова определили к нам в группу, но станок не доверили, а был он вначале на подхвате — подметал, смазывал, шорнику помогал.

Однажды мы пошли с ним вдвоем за поковками. В кузнечном было сумрачно. Казалось, что освещают его только раскаленные добела болванки, из которых здесь ковали заготовки для наших «донышек». Длинными щипцами кузнец выхватывает болванку из нагревательной печи и кидает ее под огромный паровой молот; пять — семь ударов — и дело сделано: заготовка летит в сторону, на землю, остывать. Остывали они удивительно быстро.

Ни огнедышащая нагревательная печь, ни горячие паропроводы, ни раскаленные болванки не могли согреть этот цех, похожий на ангар. Дуло там со всех сторон: из-под ворот, из разбитых окон, из вентиляционных устройств, которые были явно лишними. Несмотря на холод и сквозняки, мы любили ходить сюда. Было интересно смотреть на раскаленный металл, на слитную работу кузнеца и молота; любили мы, надев асбестовые рукавицы, кидать в вагонетку тяжелые и еще горячие заготовки. Кроме того, кузнечный цех был едва ли не единственным местом в Москве, где мы среди зимы могли напиться газированной воды. В любом количестве и бесплатно!

В кузнечном бесплатная газировка без сиропа полагалась по правилам охраны труда и техники безопасности. Впрочем, сами кузнецы ее не пили. Газировку хорошо пить на сытый желудок после

жирного обеда, а у голодного человека она вызывает вовсе лишний аппетит, который мешает работать. Так рассуждали взрослые, и газированную воду, предназначенную кузнецам, пили мы, ученики ремесленного училища.

Нагрузив вагонетку, мы с Семеновым вспотели. Я снял рукавицы и сказал:

— Тяпнем по стаканчику?

Мы подошли к коляске с газированной водой.

Эта коляска всегда напоминала мирное время, лето, жару и множество ос, тощих, желто-полосатых, как тигры. Они неведомо откуда появлялись в городе и слетались к колбам с химического цвета сиропом. Вкусная была вода с сиропом, хорошее было время.

Я покрутил ручку сатуратора, налил стакан и протянул его Семенову. Стакан был один, и, пока Семенов пил, я смотрел на него.

— Говорят, ты на фронте был?— спросил я.

Семенов допил воду, сполоснул стакан, наполнил его водой для меня и сказал:

— Нет. В тылу.

— В фашистском?

Я налил себе второй стакан газировки и только тогда услышал ответ:

— У меня память плохая, ты меня лучше не спрашивай.

— И фашистов видел?

— Да,— неуверенно пробормотал он.— Видел. Непохоже, чтобы он врал. Видимо, скрывал что-то. Не хотел говорить.

— А правда, что ты к нам из госпиталя попал?— настаивал я.

— Нет,— ответил Семенов,— не из госпиталя. Я из больницы к вам попал.

— Из какой?

— Из детской.

Ничего больше мне узнать не удалось.

Запомнился еще один случай. В клубе шел фильм про войну. Веселый повар Антоша Рыбкин — его играл Борис Чирков — на солнечной полянке варил кашу. Он варил кашу и пел задорные куплеты. А в это время к походной кухне тайными тропами под-

бирались фашисты. Они хотели застать нашего повара врасплох. Но не тут-то было! Антоша Рыбкин легко раскидал десятка три фашистов, действуя в основном кулаком и поварешкой. В конце фильма Антоша раздавал вкусную кашу бойцам и еще веселее пел свои лихие куплеты.

Нам картина понравилась, и я спросил Семенова:

— Правда, здорово он их?

Семенов нахмурился.

— Правда, здорово?— еще раз спросил я.— Молодец Чирков.

— Не помню!— невпопад ответил он.— Отстань! Губы у него дрсжали, глаза стали узкими и злыми.

Я тоже разсзлился.

— Ты что, контуженный? С тобой как с человеком, а ты как собака...

Мне захотелось дать ему по шее в воспитательных целях, но шея у него была тонкая и жалобно торчала из нитяного шарфа и широкого суконного ворота.

Я перебежал на другую сторону улицы и догнал ребят.

Все это происходило в первые месяцы. Постепенно Семенов подравнялся на нашем трехразовом питании, ему доверили неплохой еще станок «Цинциннати», и он точил на нем свою норму «донышек». Форменная одежда быстро поистерлась, засалилась; он получил спецовку с телогрейкой и вскоре ничем не выделялся среди нас.

Вновь в центре внимания Семенов оказался только на следующий год в самый неподходящий момент, в канун Первомая, во время весеннего субботника по очистке заводского двора. Мы грузили на машины ржавую металлическую стружку, которой скопилось целые горы, и соревновались с группой слесарей. Каждый человек был на счету.

С утра Семенов вышел вместе с нами, потом кто-то куда-то его позвал. Он отпросился у бригадира на десять минут и не вернулся вовсе.

РАЙТОП

Никогда прежде Семенов не думал, что войны начинаются так неинтересно. Не то чтобы он заранее

представлял себе, как это будет, если начнется война, но когда она началась, не возникло у него того веселого, боевого настроения, которое, казалось, должно сопровождать подобное известие. Не хотелось Семенову ни петь, ни маршировать по улице.

В тот первый день, вернее, в то утро он еще ничего не знал о начале войны. Была хорошая погода — солнечная с ветерком. В такую погоду белье сохнет быстро. Лишь бы ветер не усилился, тогда поднимется пыль и белье придется снять.

Толе Семенову шел двенадцатый год. Он был худ и мускулист. Хотя лето только начиналось, он успел загореть, и его серые глаза казались синими.

Сейчас он сидел на тяжелой дубовой колоде в углу двора, посматривая, как сушится белье, внимательно разглядывал свои босые ноги и думал.

Он думал обо всем сразу и ни о чем в отдельности. В таких случаях с интересом спрашивают:

— О чем задумался?

А в ответ смущенно говорят:

— Да так. Ни о чем.

Между тем в это самое время в мозгу человека происходит глубокая и потому невидимая работа по сопоставлению вещей, на первый взгляд до смешного несопоставимых. Именно в это время мозг обретает новые возможности для ассоциаций, сравнений и выводов. Именно в эти минуты человек умнеет. Не бойтесь думать ни о чем.

Семенов всего этого не знал, но замечал, что «мысли ни о чем» чаще всего приходят к нему здесь, на дубовой колоде в тени бывшей райтоповской конюшни. Конюшню эту когда-то начали было переделывать под гараж, да так и не закончили, потому что райтоп слили с гортопом. Двор стал зарастать травой. Дом, где помещалась контора Колычского районного топливного отдела, пустовал, а в бывшей конюшне жильцы сразу же оборудовали себе сарайки. Всего во дворе жили три семьи — теперешние и бывшие служащие райтопа. Бывших служащих постепенно становилось больше, чем теперешних. Они уходили работать в другие учреждения, но жить оставались здесь.

С весны полоскать и сушить белье мать поручала

сыну. У нее от холодной воды болели и опухали руки, а Эльвире было некогда: она училась в десятом классе и у нее были посредственные отметки по физике и немецкому. Сам же Семенов перешел в пятый на «хорошо» и «отлично».

Ветер дул порывами, и Семенов поглядывал на небо, как бы подбадривая солнце: ну давай, суши, суши — тучи могут налететь.

В этом дворе Семенов жил со дня своего рождения, потому что его отец Вячеслав Баклашкин прежде работал счетоводом в райтопе, но, когда оставил семью, перешел в райпотребсоюз. Случилось это давно, и с тех пор Семеновы принадлежали к числу бывших служащих. Порой это сильно тревожило маму. Она не спала по ночам, думая о том, что будет, если их выселят.

Слухи о предстоящих переселениях приносил во двор бывший технорук райтопа, а ныне технорук гортопа Александр Павлович Козлов. Он охотно рассказывал соседям о том, какие планы возникают у руководства насчет бывшей конторы, самого двора и жилых помещений. Обычно его слушали с неприязнью, потому что люди не любят тех, кто приносит тревожные вести. Это несправедливо вообще, и по отношению к Александру Павловичу было тоже несправедливо. Он ничего не выдумывал от себя, а планы использования пустой конторы райтопа действительно имелось множество.

Больше всех во дворе не любила Козлова и его жену Антонину тетя Даша, которая была уборщицей в райтопе, а теперь перешла работать на почту. Вместе с мужем, дедом Серафимом, тетя Даша жила в пристройке рядом с конюшней. Муж был старше ее лет на двадцать и тоже когда-то служил в райтопе — был заготовителем, агентом по снабжению, комендантом, конюхом, сторожем. Любое дело, за которое дед брался, он непременно разваливал. Получалось так потому, что дед никогда не занимался тем, чем следовало по должности, зато всегда люто интересовался тем, что не имело к нему никакого отношения. Деду совсем недавно стукнуло семьдесят, и он стал надомником: брал работу в переплетной мастерской, в специальном станке склеивал и прошивал растре-

паннные канцелярские папки со словами «Дело начато — закончено» на разноцветных, но одинаково тусклых обложках. Эти папки всегда подолгу лежали на подоконнике дедовой комнаты, они выгорали на солнце, мокли под дождем. Дед редко прикасался к ним. Обычно он сидел у окна неподвижно, и тело его, так плавно расширяющееся книзу, будто самой природой было предназначено тому, кто ведет сидячую жизнь.

— Семенов! — окликнул мальчика дед Серафим. — Чтой-то мать твоя вчера с двумя кошелками с базару шла? Неуж Баклашкин алименты прислал?

Дед Серафим часто вмешивался в чужие дела, и Семенов не обиделся на него.

— Баклашкин насчет алиментов всегда в срок, — ответил Семенов. — Он же у нас бухгалтер.

Никогда в разговоре с посторонними сын не позволял себе осуждать отца. Самое большее — это слова про бухгалтерскую аккуратность, слова, которые он однажды услышал от матери.

Семенов прекрасно помнил отца, потому что уже ходил в детский садик, когда все это случилось, и еще потому, что отец продолжал жить в их городе, а город был маленький.

Местные краеведы спорили о происхождении названия города. Им удалось установить, что к знаменитому боярскому роду Колычовых их город прямого отношения не имеет. Колыч упоминался в летописях земли русской с XII века. Он часто страдал от войн и разбойных набегов, так как находился вблизи западных рубежей. К середине прошлого века Колыч постепенно превратился в один из тихих провинциальных городков тогдашней России и будто бы послужил фоном для одного из сатирических произведений писателя Салтыкова-Щедрина.

В советское время на Колыч обратили внимание, сделали райцентром, построили швейную фабрику, стадион и отличный клуб промкооперации, который в области считался лучшим театральным зданием. Был в городе и музей, все экспонаты которого помещались в двух комнатах. В первой рассказывалось о Чарлзе Дарвине, происхождении видов, палеолите и неолите, там демонстрировались каменные топоры,

ножи и наконечники копий. На стенах висели изображения различных обезьян, которые справа налево все более приближались к человеческому облику. Однако галерея эта завершения не получала, превращения обезьяны в человека не происходило, не хватало места, ибо во второй комнате музея была сосредоточена вся конкретная история города, причем одна стена осталась свободной и на ней разместили выставку антирелигиозных плакатов и брошюр.

Некоторое время в клубе промкооперации работал межрайонный драматический театр, который перед самой войной целиком куда-то уехал, но клуб продолжали называть театром, хотя чаще всего там крутили кинофильмы, устраивали танцы, и лишь иногда выступали заезжие артисты.

Отец Толи Семенова Вячеслав Борисович Баклашкин ничем не выделялся среди остальных жителей города, и в этом была одна из причин многих его бед. Некоторые люди страдают оттого, что не похожи на других, выделяются из толпы; другие страдают потому, что им никак не удастся выделиться. Каждому свое.

Вячеслав Баклашкин был человек как человек — шатен, среднего роста. Одевался, как все служащие; в контору ходил в вельветовой толстовке, в выходные дни надевал шевиотовый костюм. На работе он слыл человеком исполнительным, немногословным и скучным. В его голосе всегда звучала обида, хотя никто его намеренно не обижал.

Между тем обида была. Теперь-то уж все забыли, что в детстве Славик Баклашкин был знаменит в городе и области. С шести лет он играл на мандолине в оркестре народных инструментов, подавал большие надежды, которые почему-то все не оправдывались и не оправдывались. К двадцати пяти годам Вячеслав совершенно охладел к музыке и невлюбил музыкантов.

Может быть, к этому времени и начался у него разлад с Натальей Сергеевной, матерью Эльвиры и Толи. Небольшого роста, крепко сбитая, со щеками яркими и крепкими, как яблоки, Наталья Сергеевна казалась всем воплощением здоровья и радости. Они познакомились во время конкурса самодеятельности,

где Наташа, тогда еще не медсестра, а санитарка городской больницы, пела частушки, которые сама сочиняла.

Частушки касались всяких городских неполадок и курьезов. Она пела их негромко, серьезно, без улыбки, потому что стеснялась. Чем серьезнее она пела, тем смешнее получалось. Наташины частушки, переиначивая слова для своих надобностей, пели потом на улицах города и в ближайших деревнях.

За талант полюбил ее Баклашкин, за талант постепенно начал ненавидеть. Она привыкла напевать за домашней работой, и его это раздражало. Она верила в него, а ему казалось, что она намекает на его бездарность. Он продал свою мандолину и сказал, что потерял. Она тайком скопила денег и купила ему новую с комплектом запасных струн и цветных медиаторов.

В конце концов Баклашкин ушел к другой женщине, которая, как он объяснял, понимает его по-настоящему.

Семенов старался реже вспоминать об отце, однако это ему почти не удавалось. Он думал о нем каждый день и даже по нескольку раз в день. Вот и теперь вопрос деда Серафима толкнул к самому больному из воспоминаний.

Эльвира училась тогда в четвертом классе, а Толик ходил в детсад. Было 1 Мая, и они с сестрой гуляли по главной улице. Эльвира в белой блузке и красном галстуке гордо вела за руку своего младшего брата, а тот жмурился, глядя на сверкающего леденцового петушка, которого старался облизывать не слишком часто. Вокруг было много людей в белых рубашках, белых брюках и белых юбках. На домах висели флаги, играла музыка, люди улыбались друг другу и пели песни. Было весело, и когда Толя увидел на другой стороне улицы своего отца в компании веселых и нарядных мужчин и женщин, он радостно крикнул:

— Папа! Эльвира, вон наш папа идет!

На Баклашкине были белые парусиновые туфли, белые, хорошо отутюженные брюки и белая рубашка с отложным воротником. Он рассмеялся какой-то шутке, которой ни Эльвира, ни Толя не слышали. Им показалось, что отец обрадовался встрече с ними.

— Папочка!— крикнула Эльвира.— Вот мы!

Отец увидел своих детей, но не подал виду, что узнал их. Наоборот, он отвернулся и тут же изобразил, будто вдалеке увидел нечто очень интересное. Он сказал что-то своим попутчикам, и они направились к стадиону.

— Наверно, он стесняется, что мы плохо одеты,— объяснила братишке рассудительная Эльвира.

Никогда Толя не обращал внимания на свою одежду и на то, кто как одет, и сейчас не подумал о своих штопаных чулочках. Он понял одно: отец его стесняется.

С того дня Толя начал бороться за свою личную независимость ото всего, что связано с отцом. Это по их с Эльвирой просьбе мать восстановила девичью фамилию, и в школе мальчик с первого дня стал Семеновым. Боясь, что люди вспомнят, чей он сын, на вопрос «Как тебя зовут?» он отвечал не «Толя», а «Семенов». Постепенно фамилия заменила ему имя, и взрослые во дворе признали его право на это. Одни называли его так с улыбкой, другие — с ухмылкой.

— Семенов!—опять окликнул Толю дед Серафим.— Не знаешь, чего это Козловы сегодня затеяли? Антонина на крыльцо выходила, так руки по локоть в муке. Меня, честно сказать, завидки берут...

— Не знаю, дед Серафим,— ответил Семенов.— Воскресенье сегодня. Может, гостей ждут.

К Александру Павловичу Козлову Толя относился лучше, чем другие люди в их дворе. Может, и ненамного лучше, но все же лучше. Дело в том, что из Толиных знакомых Александр Павлович был единственным, кто поддерживал отношения с Вячеславом Борисовичем и в разговорах не осуждал его.

— В чужую душу не влезешь,— миролюбиво говорил Козлов. — Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Сердцу не прикажешь...

Жена Козлова, Антонина, женщина крупная, быстрая на руку и на язык, в таких разговорах отмалчивалась, но было ясно, что своего мужа она так просто не отпустила бы туда, где лучше, и вовсе не согласилась бы, что сердцу не прикажешь.

— Точно! Гости ожидают,— подал голос дед Серафим. — Видать, важные будут гости. Сам хлопочет.

Александр Павлович вышел к своему сарайчику и принялся колоть дрова. Это были аккуратные и чистенькие березовые полешки, которые легко разлетались на двое в тот самый момент, когда тяжелый колун прикасался к ним. Такие дрова и должны быть у технорука гортопа.

Семенов вспомнил, что мать тоже собиралась напечь пирожков в честь того, что Эльвира окончила школу, однако потом они передумали. Все равно сегодня у Эльвиры выпускной вечер, и десятиклассники складывались заранее. Кстати, матери предложили в больнице внеочередное дежурство, которое оплачивалось в двойном размере.

Александр Павлович колот дрова и, опуская колун, хакал. На нем была белая футболка с голубой буквой «Д» и белые трусы с голубым атласным галуном. Широкие плечи, крепкие ноги, спокойное, мужественное лицо и стрижка «под бокс» очень подходили к его спортивной одежде.

— Герой! — глядя на него из своего окошка, сказал дед Серафим. — Сам словно конь, жена — как пышка. А детей господь не дал.

У деда Серафима с тетей Дашей теперь тоже не было детей. Две их дочери умерли от голода в Гражданскую войну.

— И почему так бывает!.. — продолжал рассуждать дед Серафим. — Другой и не больно видкий, и детей ему не надо, а господь дает. Господь дает, а ён не дорожит. Ни дочь ему не надо, ни сына.

Семенов никак не отозвался на эти слова, хотя отлично понимал, кого дед имеет в виду. Толя сердито подумал про то, что дед Серафим совсем обленился, а тетя Даша сбилась с ног, работая на почте, еще уборщицей где-то и еще стирая чужое белье. Несколько месяцев назад тетя Даша отобрала у мужа штаны, чтобы тот не шлялся, где попало, а переплетал книги. Дед поскандалил неделю, потом смирился и тихо сидел дома в кальсонах. Впрочем, проку от его работы все равно не было.

Видя, что разговор с мальчиком не получается, дед взял с подоконника кипу каких-то документов, которые ему предстояло переплести, поднял с полу банку с клеем и прислушался.

Тихо было в районном городишке Колыч в то утро, когда на западе нашей страны уже несколько часов подряд рвались бомбы и снаряды, громыхали танки, истекали кровью первые тысячи солдат и мирных жителей. Самая кровопролитная в истории вторая мировая война шагнула на территорию СССР.

— Обед скоро, — сказал дед Серафим. — Есть охота.

Он заглянул в жестянку. Клей высох, его надо было залить водой и поставить на плиту, а деду Серафиму не хотелось вставать с места.

Семенов сидел на дубовой колоде и смотрел, как Александр Павлович Козлов, набрав свежих березовых поленьев, скрылся за крашенной голубой краской дверью своей квартиры.

Ветерок слегка раскачивал сохнущее белье. По улице протарахтел грузовик.

Дед Серафим опять заговорил:

— Гляди, как Козлов динамовскими трусами хвастает!

И Семенов увидел Александра Павловича, в странном оцепенении замершего на своем крыльце. Минуту Козлов стоял молча, оглядывая двор, а потом крикнул:

— Включите радио! Война!

Семенов хотел побежать домой, к репродуктору, заисуетился дед, потому что у них репродуктор был на кухне, но Козлов уже устанавливал на подоконник деревянный приемник ЭЧС-2.

«Говорит Москва! Говорит Москва!..»

Радио сообщало, что сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны фашистские войска атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие, и только после этого в пять тридцать утра посол Германии Шуленбург известил правительство СССР, что это война.

Некрашенный деревянный приемник ЭЧС-2 работал хорошо, каждое слово звучало громко и внятно, но люди стояли возле квартиры Козлова и будто не понимали того, что слышат.

«Победа будет за нами!» — сказала радио.

Александр Павлович повторил эти слова для своей

жены Антонины, для деда Серафима и для Семенова. Потом стали передавать торжественную музыку, Она была военной и мужественной.

Семенов вспоминал об этом потом, а тогда прежде всего подумал, что надо сбегать в больницу и предупредить мать. Она боялась войны, не любила, когда про нее говорили и когда сын в нее играл. Однако Семенов быстро сообразил, что бежать в больницу не надо, там уже все знают — больные любят слушать радио.

С сумкой почтальона на боку во двор вбежала тетя Даша. Увидев, что здесь про войну уже известно, она повернулась и пошла прочь.

— Дарьюшка! — взмолился дед Серафим, до пояса высунувшись из окна. — Отдай штаны! К людям хочу.

Тетя Даша не обернулась.

— Гитлер ты! — ругнулся дед Серафим и вылез во двор в одних подштанниках.

Александр Павлович убрал с окна приемник и вскоре появился во дворе в своем обычном полувойском костюме — сапоги, синие галифе и гимнастерка под широким командирским ремнем. Из-за какой-то болезни он никогда не служил в Красной Армии, но такую одежду в те предвоенные годы любили многие ответственные работники областного, районного и сельского масштаба. Александр Павлович Козлов считал себя ответственным работником.

Он ушел со двора быстрой деловой походкой, и все поняли, что вернется он с новостями.

Так и случилось. Вечером Александр Павлович рассказывал то, что узнал по секрету от одного очень видного товарища. Оказывается, в ответ на внезапный удар фашистов наши войска стремительным контрударом опрокинули врага и преследуют его, отступающего в панике на заранее подготовленные позиции. По словам Александра Павловича, получалось, что наша кавалерия уже форсировала Вислу и вошла в Варшаву, занятую фашистами еще в 1939 году, и стремительно движется к Берлину.

Семенову это сообщение понравилось, и он пошел домой, чтобы посмотреть, где на Эльвириной карге Варшава и далеко ли от нее до Берлина. Он измерил расстояние от нашей границы до Варшавы и от Варша-

вы до Берлина, потом посмотрел масштаб. Все получалось правильно, здорово и быстро.

Семенов снял белье с веревки, сложил его на кухне и отправился в школу к Эльвире. Там было не до него. Выпускной вечер решили не отменять, а мальчишки Эльвириного класса, оказывается, уже написали коллективное заявление с просьбой считать их добровольцами. Завхоз школы, он же по совместительству физрук, Леонид Сергеевич Щербаков, как бывший командир Красной Армии, объяснил, что в таких случаях коллективные заявления не пишут, потому что каждый должен говорить от своего собственного имени. Теперь ребята сидели за партами, где еще недавно писали контрольные работы, и на таких же отдельных листочках из тех же тетрадей каждый в отдельности излагал свою просьбу участвовать в борьбе с фашизмом.

Семенов увидел, что среди двенадцати мальчишек выпускного класса сидит одна девушка. Это была его сестра Эльвира. Она тоже писала заявление.

Александр Павлович Козлов пользовался, видимо, непроверенными слухами, когда в первый день войны утверждал, будто наши войска уже опрокинули противника и бьют его на его же территории. Нужны были долгие месяцы и годы кровопролитной борьбы и героических схваток за каждый метр земли, чтобы сбылось то, о чем мечтали многие в тот первый день. Что делать! Всем бы хотелось, чтобы война была не на нашей земле, чтобы не возле наших домов рвались бомбы и снаряды... Но до победы было еще долго, и не всем героям этой повести довелось ее увидеть.

Радио и газеты тех первых дней войны сообщали о войне крайне сдержанно и даже скупо.

Из сообщений Советского Информбюро

... В течение 24 июня противник продолжал развивать наступление на ШАУЛЯЙСКОМ, КАУНАССКОМ, ГРОДНЕНСКО-ВОЛКОВЫССКОМ, КОБРИНСКОМ, ВЛАДИМИРОВОЛЫНСКОМ и БРОДСКОМ направлениях, встречая упорное сопротивление войск Красной Армии...

Наша авиация, успешно содействуя наземным войскам на поле боя, нанесла ряд сокрушительных ударов по аэродромам и важным военным объектам противника. В боях в воздухе нашей авиацией сбито 34 самолета.

В Финском заливе кораблями Военно-Морского Флота потоплена одна подводная лодка противника.

... В течение всего дня 4 июля шли ожесточенные бои на ДВИНСКОМ, БОРИСОВСКОМ, БОБРУЙСКОМ и ТЕРНОПОЛЬСКОМ направлениях. На остальных участках фронта наши войска, прочно удерживая занимаемые позиции, ведут бои с противником, пытающимся вклиниться в нашу территорию...

Наша авиация в течение дня наносила удары по аэродромам противника и по его мотомеханизированным частям, задерживая их продвижение и нанося им большое поражение.

По уточненным данным, за вчерашний день наша авиация сбила 62 самолета противника.

... В течение 14 июля продолжались бои на СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ, ЗАПАДНОМ и ЮГО-ЗАПАДНОМ направлениях.

Наши войска противодействовали наступлению танковых и моторизованных частей противника и неоднократно контрударами наносили врагу тяжелые потери.

... В течение 24 июля развивались упорные бои на ПОРХОВСКОМ, СМОЛЕНСКОМ и ЖИТОМИРСКОМ направлениях.

На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось.

Наша авиация в течение дня во взаимодействии с наземными войсками наносила удары по мотомехчастям и пехоте противника и действовала по авиации на его аэродромах.

По уточненным данным, за 23 июля в воздушных боях и на земле нашей авиацией уничтожено 58 самолетов противника. Наши потери — 19 самолетов.

По уточненным данным, при налете на Москву в ночь с 23 на 24 июля сбито 5 немецких самолетов.

НАШЕСТВИЕ

Эльвира родилась, когда родители любили друг друга, а Вячеслав Борисович верил в свою звезду. Имя для дочери он выбрал по своему вкусу, звучное и в то время модное. Дочка походила на мать, и вначале это сходство нравилось отцу. Нравилась ее круглая мордашка с круглыми, чуть удивленными глазами, нравилась походка, веселая и бойкая, нравилась застенчивая смешливость. Однако постепенно неудовлетворенное самолюбие вытесняло из сердца Баклашкина все добрые чувства и раньше других — любовь к родным.

Рождение сына, казалось бы, вновь повернуло его к семье, но продолжалось это очень недолго. Маленький Толя казался отцу слишком похожим на него, в

нем отец видел свою собственную беспомощность и предрекал сыну такую же несладкую жизнь. Воображение Баклашкина рисовало ему большую и несчастную семью, во главе которой волей случая оказался он. Нет, здесь ему счастья не видать. Поэтому при первой возможности отец сбежал от детей и жены.

Между тем Вячеслав Борисович ошибался. Это была счастливая и дружная семья, где все любили друг друга, ни в чем не считали себя обделенными, и единственным их горем был позорный уход отца. Они не понимали причин такого поступка и оттого огорчались еще больше. Об этом в семье никогда не говорили.

Однажды — уже в августе — придя с очередного ночного дежурства, мать сказала вроде бы мимоходом:

— Говорят, папу нашего сегодня с эшеленом на фронт отправляют.

Дети смотрели на мать настороженно и ждали, что будет дальше. То, что она назвала Баклашкина папой, слегка задело их обоих. Папый его давно здесь не называли.

— Может, сходите на вокзал? В одиннадцать отправляют, я слышала. Надо все-таки...

Семенову не хотелось провожать отца, но возражать он не стал. Мать старалась не смотреть на детей, она понимала, как им будет трудно. Она не просила, не советовала — она надеялась.

— Хорошо, — сказала Эльвира. — Ты права, мама, в такое время...

На улицах было пыльно и грязно, появилось много незнакомых, усталых людей, военных и штатских, много машин, повозок, лошадей. Пришельцы из западных районов общались в основном между собой, вроде бы вовсе не замечая местных жителей. Брат и сестра шли к вокзалу: Эльвира в лучшем своем маркизетовом платье, по словам тети Даши, похожая на наливное яблочко, и Семенов — худенький мальчик в ковбойке с красным галстуком, специально надетым матерью, в праздничной вельветовой куртке и со значком «Будь готов к труду и обороне СССР».

Было пять минут одиннадцатого, и они, конечно, успевали на вокзал. Не хотелось, однако, приходить слишком рано, потому что неизвестно, о чем им с отцом говорить. Они повернули на Привокзальную и не-

вольно остановились. По широкой асфальтированной улице навстречу им бежали люди. Вид у них был испуганный, многие нервно смеялись. Вслед за людьми все быстрее и быстрее, с топотом, визгом и хрюканьем двигалось огромное стадо свиней. Крупные, белые, хорошо откормленные, породистые, они заполняли всю улицу, и топот их копыт нарастал. Недалеко от того места, где остановились брат и сестра, улица сильно сужалась, потому что в самую мостовую упирались колонны бывшего епархиального училища, где теперь находился городской банк. Здание банка было окружено палисадником с фигурной металлической оградой. Здесь образовалась пробка, затор, какой получается, когда несколько человек пытаются одновременно проскочить в узкую дверь. Задние напирали. Раздался отвратительный визг, потом треснула и повалилась ограда палисадника. Свиньи, которые слегка замедлили свое движение, с новой силой ринулись вперед.

Семенов понял, что свиньи растопчут его своими мелкими копытцами, и похолодел от страха. Тут он услышал крик сестры:

— Сюда! Сюда!

Он оглянулся. Улица за ним совершенно опустела. Двери всех подъездов и калитки оказались наглухо закрытыми. Свинья лавина приближалась.

— Сюда!— еще раз крикнула Эльвира, и Семенов увидел сестру в проеме высокого окна. Она протягивала ему руку.

Толя стал рядом с ней на покатый подоконник. Внизу неслись свиньи. Сверху смотреть на это было еще страшнее. Многие животные почему-то были в крови. Оказалось, что опрокинутая ограда госбанка разрывала им бока. Кровь заливала мостовую, на стенах домов оставались кровавые полосы. Стадо несло вперед, ему не было конца.

— Это как во сне, кошмар какой-то, — сказала Эльвира. — И мне страшно, как во сне. Даже голова кружится и руки слабеют.

Семенов посмотрел на ее круглое лицо и испуганные детские глаза и сказал, как часто говорила мать:

— Ты у нас известная трусиха...

Получилось это как-то фальшиво и неубедительно. Ему и самому было очень страшно.

Наконец поток свиней иссяк, а за ним показались совершенно растерянные люди в новых синих телогрейках и с кнутами в руках. Последним вышагивал очень высокий краснолицый человек с толстым портфелем. Он растерянно оборачивался к людям, которые свисали изо всех внезапно раскрывшихся окон, и объяснял, хлопая рукой по пузатому портфелю:

— Племсовхоз мы, свиной племсовхоз. Элита, понимаете... Эвакуировались специальным эшеленом, и вдруг велели выгружаться... Разве мы виноваты... Элита мы...

Конечно, они не были виноваты, эти люди, спасавшие народное достояние. Не были виноваты и те, кто попросил их освободить вагоны для кого-то или чего-то более важного и ценного.

Брат и сестра не думали об этом. Времени до одиннадцати оставалось совсем мало. Бегом они кинулись к вокзалу. И в это время там один за другим раздались несколько сильных взрывов. Фашистские самолеты бомбили станцию. Их было шесть — пикирующих бомбардировщиков с черными крестами. Они заходили на бомбежку по очереди, с воем пикировали и, сбросив бомбы, на бреющем уходили к западу.

Когда налет кончился и ребята подошли к вокзалу, часы на башне показывали ровно одиннадцать. Известно было только — идут часы или остановились во время бомбежки. На перроне оказалось сравнительно мало народу. Санитары в несвежих белых халатах несли на носилках раненого. Впереди, поминутно оборачиваясь и торопя их, семенила женщина-врач в толстых очках. Раненый громко стонал и ругался.

На ближайших путях не было ни одного поезда. В тупике возле пакгауза горели какие-то теплушки. На первый взгляд, фашистский налет не удался. Но потом Эльвира увидела, что сильно разрушено здание депо, снесена водокачка и на запасных путях разбит состав пассажирских вагонов. Она кинулась к какому-то человеку в железнодорожной форме. Тот не дослушал ее.

— Их утром отправили, — сказал он. — Да, должны были в одиннадцать, а отправили в семь утра. По обстановке. Видите, что делается... Хорошо, что успели станцию разгрузить.

Его голос заглушила сирена воздушной тревоги, ус-

тановленная тут же, рядом с вокзальным колоколом. В небе опять появились фашистские бомбардировщики. Железнодорожник толкнул ребят в какую-то дверь. Они побежали через зал, потом вниз по каменной лестнице и оказались в глубоком подвале. До войны здесь были подсобные помещения, склады и камера хранения. Теперь тут было бомбоубежище и находились начальник вокзала и военный комендант.

Наверху рвались бомбы, в бомбоубежище стоял гул голосов, а у железнодорожников работа шла своим чередом. Стучал телеграфный аппарат, трещали телефоны, начальник подписывал какие-то бумажки, отдавал распоряжения штатским и военным. Из обрывков разговоров брат и сестра поняли, что фронт за последние дни неожиданно быстро придвинулся к Колычу и теперь всюю идет эвакуация наиболее важных городских учреждений и предприятий.

Эльвире не хотелось верить в то, что она слышала. Фронт рядом, город готовят к боям. Эвакуация...

— Физикус! — Семенов дернул Эльвиру за рукав. — Точно, Физикус!

Без сомнения, это был он, «Леонард Физикус с дикими зверями», дрессировщик и иллюзионист. Он был одинок в этом подвале и с трудом протискивался сквозь разношерстную, неуступчивую толпу. Кто знает, может быть, совсем недавно эти люди аплодировали известному в области дрессировщику, а теперь вовсе не хотели узнавать его.

— Прра-шу! — выдыхал Физикус, в такт слогам действуя покатыми плечами. — Прра-шу! Прра-шу!

Майор в роговых очках, военный комендант станции Колыч, вначале никак не мог понять, чего хочет от него этот нервный человек с пронзительным голосом. Майор слышал слова, смысл которых до него почему-то не доходил.

— Повторите, пожалуйста! — Интеллигентный комендант кривил лицо, думая, что так он будет лучше слышать. — Я вас не вполне понял.

— Удав американский! — почти кричал Физикус. — Понимаете — удав!

— Понимаю, — кивнул майор. — Американский!

— Из Южной Америки! — уточнил Физикус.

— Понимаю.

— Еще обезьяны, осел и коза!

— Понимаю.— У майора было мало времени.— Коротче.

— Нужен вагон! — крикнул Физикус. — Можно пассажирский, можно товарный.

Майор не стал отвечать словами, а только рукой показал, что об этом и говорить не стоит.

Физикус едва не упал в обморок. Глаза его закатились под лоб, губа отвисла. Майор пожалел дрессировщика.

— Я бы с удовольствием... — сказал он. — Вагонов нет, тяги нет.

Физикус неожиданно воспрянул:

— Полвагона! Я согласен на полвагона.

— Нет! — У майора от злости вспотели очки.

— Уникальный удав! — Физикус навис над комендантом. — Таких удавов в СССР не более трех штук. Умоляю вас, ради науки!

Семенов во все глаза смотрел на Физикуса и ждал, чем кончится этот захватывающий разговор об эвакуации ценных дрессированных зверей. Вблизи Леонард Физикус выглядел не так эффектно, как на сцене. Это был усталый пожилой человек в мятом сером костюме. Только бабочка на голубой рубашке говорила о его принадлежности к искусству.

Майор не хотел больше слушать Физикуса, но тот хватал его за руки, умолял, заклинал и грозил, что будет жаловаться в Москву. Майор заколебался.

— Поймите, товарищ, — сказал он Физикусу. — Мы целый эшелон элитных свиней выгрузили. Элитных свиней оставляем, племенных, понимаете?

— Сравнили! — вскинулся дрессировщик. — Это же уникальный удав, за него валютой плачено! Вы за это ответите!

— Хорошо, — сдался комендант. — На открытой платформе поедете? Антонюк! Есть у нас место на платформе?

Антонюк, очень худой и немолодой уже старшина, из-под больших черных бровей глянул на майора.

— Так миста ж немае, — сказал он. — Там же ж старушки с дитями!

— Надо что-то придумать, Антониюк, — не так уверенно, как раньше, заявил комендант. — Удав уникальный, американский. Из Южной Америки.

— Товарищ майор... — укоризненно покачал головой старшина. — Мы ж им землю ридну зальшили, зальшимо ж ще цього удава.

Кто-то в толпе засмеялся, но в это время наверху раздался сильный грохот, с каменных сводов полетела чешуя побелки.

Комендант выскочил из-за стола и помчался к выходу, Физикус зло смотрел ему вслед.

Эльвира слышала весь этот разговор и думала: «Что же это, что ж? Половина Украины, вся Прибалтика и Белоруссия в руках врага, а я сижу в тылу. До сих пор нет ответа из военкомата. Ребят давно взяли, а мной пренебрегли».

Эльвира не знала, что находится уже не в тылу, что завтра их город будет передним краем, а еще через день окажется по ту сторону линии фронта.

Александр Павлович Козлов был человеком дисциплинированным. Этим качеством он гордился и его же больше всего ценил в других людях. Однако самое приятное, когда приказ начальства совпадает с горячим желанием подчиненного. Сейчас Козлову представляется именно такой случай.

Александр Павловичу предложили эвакуироваться. Машина должна была заехать за ним через час. Он упаковал два чемодана, увязал веревками большой сундук.

— Всего три места, — говорил Козлов Наталье Сергеевна, тете Даше и деду Серафиму, которые подошли прощаться. — Другие везут с собою все, включая мебель, а я — только самое необходимое... Конечно, есть точка зрения, и она правильная, что врагу следует оставлять пепелища, но мебели это не касается, мебель тут ни при чем. Помните, как сказал поэт Пушкин: «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою».

— Это верно, Александр Павлович, — согласился дед Серафим. — Москва — конечно. Только мы в Ко-

лыче живем, а не в Москве. А что нетерпелив Гитлер, это еще верней. Так и прет.

— Врагу нельзя оставлять ничего сколько-нибудь важного, — поглядывая на часы, продолжал свою лекцию Козлов. — Необходимо взрывать мосты, элеваторы, административные здания, заводы и фабрики. Даже школы и больницы следует взрывать, ибо в них враг может устроить свои госпитали.

— Неужто школы и больницы? — неожиданно для себя самой сказала Наталья Сергеевна. — Школы и больницы взрывать не надо. Больницы — это святое дело. Люди болеют, на войну невзирая. Если взорвать больницу, куда они, бедняги, денутся. Вчера, например, оперировали шестерых. Старику семьдесят лет, аппендикс вырезали, у него уже перитонит начинался. У женщины одной из деревни Пармузино непроходимость была, заворот кишок. Это же смерть, а у нее трое маленьких, две девочки и мальчику шесть лет.

Наталья Сергеевна не решилась бы так прямо возражать Козлову, но прошедшая ночь действительно была очень напряженной — несколько экстренных операций подряд. Кроме того, точка зрения, которую высказывал сейчас Александр Павлович, часто обсуждалась в больнице.

Старейший в городе хирург Лев Ильич Катасонов, у которого Наталья Сергеевна работала операционной сестрой, твердо сказал, что в эвакуацию не поедет и будет работать в операционной, как работал прежде. Сначала с ним жестоко спорили, потом спорить перестали. Лев Ильич не любил возражений, он выдерживал из уха слуховой аппарат, когда не хотел слушать собеседника. Выдернет трубку и, вежливо улыбаясь, извиняется: мол, я вас, к сожалению, не слышу. Старому хирургу шел семьдесят восьмой год, но никто не мог выстоять над операционным столом больше, чем он. Бывало, что молодые ассистенты не выдерживали напряжения, уставали и менялись, а он работал без капли пота на высоком лбу.

Наталья Сергеевна была у него операционной сестрой почти пятнадцать лет и относилась ко Льву Ильичу, как Земля относится к Солнцу. Она всегда была рядом с ним, светилась его светом и не мыслила без не-

го своей жизни. Старик высоко ценил Наталью Сергеевну. Он сам ее для себя обучил, но был сдержан в выражении своих чувств. Кстати, Лев Ильич, один из немногих в городе, неизменно обращался к Наталье Сергеевне на «вы». Впрочем, старик со всеми был неукоснительно вежлив.

— Школы и больницы нельзя разрушать, — робко повторила свою мысль Наталья Сергеевна. — Вы уж простите, но тут вы перегнули, Александр Павлович.

— Ты, Наташа, смотришь со своей маленькой колокольни, — добродушно объяснил ей Козлов. — Есть, однако, вышки повыше. Есть, понимаешь, точка зрения, а есть кочка зрения. Так вот у тебя — кочка.

Александр Павлович считал себя вправе давать советы жителям двора. Ведь он был почти что инженер, правда, без диплома, к тому же старший по должности и, как он был твердо уверен, по политическому опыту. К Наталье Сергеевне он относился покровительственно и снисходительно. Это проявлялось в тоне, каким он разговаривал с ней и о ней. Чаще всего он высказывал такую мысль:

— Баба она неплохая, добрая, работающая, но бесхарактерная, бесхребетная, без силы воли. В наше время сила воли — все. — Иногда он уточнял себя: — Сила воли, умноженная на разумную гибкость и непримиримость к недостаткам.

Александр Павлович не формулировал точных причин своей снисходительности, но главная — была в том, что он хорошо знал Вячеслава Баклашкина, иной раз выпивал с ним стопку-другую в чайной возле рынка, но не уважал его. Если же человек, которого Александр Павлович не уважал, обижал кого-то другого, то этот другой и вовсе не стоил уважения.

— Точка зрения отличается от кочки зрения, как ученый от грамотного, — сказал Козлов. — Обо всем народе надо думать, о стране.

— Правильно говоришь, Александр Павлович! — воскликнул дед Серафим, который всегда принимал сторону предыдущего оратора, потому что ему было интересно, что скажет следующий.

Однако возражений со стороны Натальи Сергеевны не последовало, весь пыл ее прошел, она застеснялась

своей упрямости, побоялась спорить дальше, чтобы не обидеть собеседника.

— Что-то машина долго не идет, — сказала Наталья Сергеевна, находя повод отойти от Козлова и заняться своими делами. — Пойду и я. Как приедут, услышу.

Александр Павлович взглянул на свои большие часы и удивленно поднял брови. Он не волновался, ибо волноваться на людях — значит терять авторитет.

— Радио, что ли, послушать... — Он перенес приемник с сундука на подоконник, включил в сеть и присоединил антенну. — В последний раз.

Наталья Сергеевна, тетя Даша и дед Серафим очень этому обрадовались. После недавнего воздушного налета радиотрансляция в городе не работала.

Приемник нагревался медленно, а когда нагрелся, сразу закричал на непонятном языке. Кричал он громко и нахально, слова летели, как кирпичи. Никто из присутствующих не знал немецкого языка, но все поняли, что то говорит именно немец, и даже не просто немец, а фашист. Всем стало жутко, что приемник вдруг ни с того ни с сего заговорил не по-нашему, но больше других испугался Александр Павлович. Он кинулся к подоконнику и рванул шнур. Фашист умолк.

— Шкала сдвинулась, — суетливо объяснял Александр Павлович, — настройка... сдвинулась, и все. Увязывали, переносили... Я его сдавать собирался... Шкала сдвинулась.

Александр Павлович в самом деле никогда не слушал фашистское радио, он и не думал об этом: ему вполне хватало сознания, что у него есть радиоприемник — один на всю улицу. Слушал же он только радиостанцию имени Коминтерна, Москву. Как не испугаться, когда приемник вдруг заговорил по-немецки! Может быть, это сам Гитлер говорил, кто знает. Неприятно было и то, что приемник этот следовало сдать еще месяц назад, но Александр Павлович купил его перед самой войной по случаю, и жаль было расставаться с такой ценной вещью. Теперь все это могло обернуться большущей неприятностью.

Он зря беспокоился, никто во дворе не заподозрил Александра Павловича в том, что он специально настроился на волну фашистской радиостанции; он, одна-

ко, все оправдывался, объяснял тете Даше, Наталье Сергеевне и деду Серафиму устройство радиоприемника и как легко сбивается настройка, если невзначай повернуть этот вот винтик.

Наконец во двор въехала гортоповская полуторка. В кузове уже сидели трое, лежали узлы и чемоданы. Супруги Козловы быстро погрузились; Александр Павлович запер квартиру, попросил остающихся приглядывать и пообещал скоро вернуться.

— Наше дело правое! — заявил он, стоя в кузове. — Враг будет разбит, вот увидите.

Исправить впечатление от случившегося ему не удалось. Неловкость чувствовали все. Когда полуторка выехала на угол Луговой и Салтыкова-Щедрина, Александр Павлович увидел Эльвиру. Она стояла с Верой Ивановой, самой близкой своей подругой. Девушки о чем-то спорили и не глядели по сторонам.

— Мы скоро вернемся! — крикнул им Александр Павлович и помахал рукой. — Мы скоро вернемся!

Он и представить себе не мог, как скоро придется ему вернуться сюда.

Разговор с Верой сначала как-то успокоил Эльвиру. Подруга говорила, что видела, как ночью через город в западном направлении прошла большая воинская часть и штук двадцать танков. По ее мнению, немцев решили остановить именно у их города, а эвакуацию проводят на всякий случай. Эльвира поверила этим доводам. Хорошим людям свойственно верить в лучшее. В этом же смысле она истолковала и слова райвоенкома, который совсем недавно сказал ей, что спешить некуда, она еще успеет навоеваться.

Разговор с Верой успокоил Эльвиру, но когда она вошла в свой двор, увидела, что окна квартиры Козловых среди бела дня закрыты ставнями, когда она вспомнила самого Александра Павловича в кузове полуторки и его обещание скоро вернуться, ей стало тоскливо и даже страшно.

«Уехал все-таки. Многие уехали, очень многие. Неужто они глупые, зря срываются из дома и уносятся неведомо куда! — думала девушка. — Неужели они все глупые, а мы с Веркой такие умные?»

— Эля! — позвала мать. — Иди обедать, мы тебя ждем.

Наталья Сергеевна была человеком гордым. Она гордилась тем, что ею дорожат в больнице и что сам Лев Ильич преподносит ей трижды в год цветы — в день рождения, в день ангела и на Восьмое марта. Она гордилась тем, что за пятнадцать лет имела в больнице только благодарности и что ее ставят в пример молодым хирургическим сестрам. Но больше всего Наталья Сергеевна гордилась своими детьми. Вот и сейчас, усадив их обедать, она украдкой любовалась, как спокойно, аккуратно и деловито ребята принялись за еду. Порядок в доме Наталья Сергеевна ценила очень высоко, а к воспитанию привычек относилась как к самому главному.

Разговор за обедом был сдержанным, хотя речь шла о войне и эвакуации, о слухах про бои на западе, выдаче населению по пуду муки на каждого работающего, о том, что некоторые вовсю запасаются картошкой, соли теперь не достать, из круп есть только овсянка.

Про вчерашнее, про то, как не удалось проводить отца, про налет на вокзал, про эшелон элитных свиней, которые пешим порядком двинулись в дальний путь на восток, за столом не говорили. Это все разговоры без пользы, болтовня. Мать не любила болтовни, говорить нужно только о делах.

— Мамочка, — твердо заявила Эльвира, — я хочу тебя предупредить, что завтра я еще раз пойду к военному. Я дам ему три дня сроку. Если не будет ответа, сама убегу на фронт.

— Хорошо, — сказала мать. — Мы это еще обсудим. Время есть.

Наталья Сергеевна поставила перед детьми по граненому стакану горячего вишневого киселя, когда в дверь постучали.

— Войдите, — сказала Эльвира. Она думала, что это ее подруга Верка.

Однако вошла не Вера Иванова, а молодой командир, младший лейтенант.

В петлицах его гимнастерки поблескивали новые «кубики», на широком командирском ремне желтела новенькая кобура.

— Здравствуйте, разрешите представиться, — козырнул он. — Подпоручик Дубровский проездом в свою часть...

Он самую капельку картавил, вернее, грассировал, получалось это у него лихо, на дворянско-гвардейский манер.

— Дефорж! — радостно воскликнула Эля. — Дефорж, откуда?!

Теперь и Семенов узнал командира. Этот парень учился в их школе на класс или на два старше Эли — для Семенова это не имело никакого значения. Иногда Семенов видел этого парня вместе с Эльвирой, потому что оба они были членами комсомольского бюро, вместе выпускали стенгазету старшеклассников и выступали на концертах в школе и на агитпункте.

— Mamочка, — сказала Эля. — Это Витя Дубровский, ты же его видела.

— Пусть Витя вымоет руки, я его покормлю, пока обед не остыл.

— Если можно, я во дворе умоюсь. — Виктор явно смущался. Он никогда раньше не бывал в этом доме. — Эля, слей мне, пожалуйста.

Все вышли к крыльцу. Виктор снял выгоревшую гимнастерку, взял в руки большой кусок хозяйственного мыла. Младший лейтенант был черно-серым от солнца и пыли, тело его под несвежей сиреневой майкой оказалось неожиданно худым и слабым. Узнать в нем прежнего Витю Дубровского, мальчика из благополучной интеллигентной семьи, было действительно трудно. В городе его помнили стройным, спортивным мальчишкой в модной заграничной курточке с «молниями». За бледное лицо, картавость и отличные отметки по всем предметам его прозвали Дефоржем. Каждый помнит, что француз Дефорж — персонаж из повести Пушкина «Дубровский». Ничего обидного в этой кличке не было. Можно было, конечно, усмотреть намек на то, что Витя больше походит на Дефоржа, чем на Дубровского. Однако самого Витю это мало заботило, а когда ему надоедали, он внушительно отвечал цитатой из той же повести: «Я не то, что вы предполагаете, я не француз Дефорж, я — Дубровский».

За обедом, который Виктор поглощал деловито и

быстро, он успел рассказать, что у него совсем мало времени, что он здесь оказался случайно, проездом в свою часть, которая должна быть поблизости.

— Представляешь, — Виктор обращался преимущественно к Эльвире, — кинулся к своим, они неделю назад уехали. Я полетел в школу — там никого. Тогда я к тебе... — Он поправился: — К вам.

В этих словах была одна неточность. В школу Виктор не заходил. Прямо из своего дома он помчался в райтоповский двор, чтобы увидеть Эльвиру. Он и сам не знал, почему так получилось. Просто с начала войны он чаще всех своих знакомых вспоминал ее, не очень уж складную, смущающуюся от прямых взглядов, но очень смешливую и острую на язык. Почему-то получалось, что он вспоминал про нее что-то такое, о чем никогда прежде не думал. Вспомнилось, например, как она года три назад принесла ему, редактору стенгазеты, очень странные стихи. Начинались они так:

Зима-чародейка укутала в шубы лесных великанов,
надолго уснувших.
Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть
дней промелькнувших
И, вдруг испугавшись чего-то, смолкает,
Но эхо ее одинокого пенья лесного могучего сна не
сломает...

Да, точно. Эля училась тогда в седьмом.

— По-моему, это гекзаметр, — сказал Виктор, возвращая Эле листок со стихами.

— Ну и что? — спросила она, не понимая. — Разве это плохо?

— Ты же не Гомер, слава богу, — сказал тогда Виктор и стихи в газету не взял.

Виктор управился с обедом быстро, стоя выпил кисель из граненого стакана и спросил Элю:

— Ты меня проводишь?

За воротами он хотел сказать, что, наверное, ни к кому еще так не относился в жизни, как к ней, но не решился. Это было бы очень неожиданно. Ведь они всегда были только товарищами, и про них нельзя было сказать, что они дружили. Это слово на языке школьников их города значило несколько больше, чем оно значит на самом деле.

Они прощались недалеко от стадиона.

— А я твои стихи помню,— сказал он.

— Какие? — удивилась она. — Я стихов не пишу.

— Писала,— сказал он. — В детстве.

— Неужели помнишь? Я и то забыла.

— Помню,— сказал он. — «Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть дней промелькнувших...»

Он быстро нагнулся, поцеловал ее в губы и быстро зашагал прочь.

Она вернулась домой удивленная и взволнованная. Конечно, каждой девушке приятно, когда она нравится такому парню, как Витя, но Эля и представить себе не могла, что это так.

«Под настроение, наверно. Прощается со школой, а никого больше не нашел. Хорошо, что заехал, — думала она. — Теперь уж точно, что где-то рядом есть крупная танковая часть. Ведь он танкист».

Наталья Сергеевна топила плитку, грела воду, хотела сегодня купать сына. Вдруг она вспомнила что-то и сказала дочери:

— Сегодня утром приходил ваш школьный завхоз, Леонид Семеныч..

— Сергеевич,— поправила Эля.

— Ну да, Сергеевич. Сказал, что просто так. Еще зайдет.

...Солнце садилось, когда Виктор вышел на западную окраину Колыча. Несколько шагов отделяли его от шоссе, и первое, что он увидел, были танки. Только это были фашистские танки. Люки у них были откинуты, однако стволы пулеметов настороженно двинулись.

Виктор мгновенно перемахнул через палисадник и, затаив дыхание, замер в высоких кустах шиповника.

«Гранату бы, — думал он, — или хоть бутылку с зажигательной смесью!»

Гранаты у него не было, а в светло-желтой кобуре не было пистолета. Он надеялся получить его в своей части.

На следующее утро по городу разъезжали мотоциклисты с автоматами на груди и в касках, чем-то напо-

минающих шлемы псов-рыцарей из кинофильма «Александр Невский». Фашисты заняли город почти без боя. Они ввели в него свои танки, спустили красный флаг над горсоветом и в упор расстреляли гипсовый памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Они думали, что овладели городом, они верили в это.

Жителям, наоборот, не верилось, что они уже на оккупированной территории. Не верилось, что это могло произойти так быстро и так просто.

В то утро Наталья Сергеевна долго возилась по дому, а когда выглянула во двор, увидела, что дверь в квартиру Козловых слегка приоткрыта.

— Толя, — позвала мать, — сбегай посмотри, что там.

— Я уже смотрел, — ответил сын. — Это Козловы вернулись. Еще ночью. Немцы десант выбросили восточнее города, мост взорвали. Вот они и вернулись, да еще пешком. Дед Серафим видел, как они шли. Вещи им бросить пришлось.

— И когда этот дед спит! — рассердилась мать. — Все видит, все ему надо. Лучше бы жене помогал.

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА «МИЛОСТИ ПРОСИМ»

Взрослые иногда и не предполагают, что дети, их окружающие, понимают все, о чем при них говорят, и даже все, о чем умалчивают. Обрывок фразы, нечаянно услышанной из-за двери, невзначай сказанное слово, взгляд или жест — все это вместе абсолютно произвольно и без всякого напряжения со стороны ребенка создает в его представлении достаточно полную картину того, что от него скрывают, особенно если этот ребенок любит своих взрослых, если у него чуткое сердце и хоршая голова.

Еще тогда, в первые дни оккупации, когда школьный завхоз Леонид Сергеевич как ни в чем не бывало весело вошел в райтоповский двор, поздоровался с тетей Дашей, подметавшей под своими окнами, бесшабашно помахал рукой деду Серафиму и сказал: «Ну и погодка нынче!» — еще тогда Семенов почуял что-то фальшивое, ненастоящее в его голосе и в этом, не

до возрасту лихом жесте приветствия. Это было тем более странно, что, увидев Семенова, Леонид Сергеевич поздоровался с ним так, как обычно здоровался в школе. Они хорошо знали друг друга, потому что Леонид Сергеевич одно время заменял преподавателя физкультуры, а Семенов любил этот предмет.

— Мама дома?

— Да, Леонид Сергеевич, проходите, пожалуйста. Однако Щербаков не торопился входить.

— А кто еще?

— Только мама и Эльвира, Леонид Сергеевич.

Щербаков аккуратно потоптался на влажной тряпке у входа и вошел в дом. Едва Семенов собрался пойти следом, как вышла мать и села на крыльце рядом с сыном.

— Зачем он пришел? — спросил Семенов.

— Говорит, важное дело к Эльвире.

— Секретное?

— А кто его знает, может, секретное, а может, личное, — сказала мать.

— Какие же у Эльвиры могут быть от тебя секреты? — спросил сын. Он твердо верил в то, что у них троих не может быть ничего тайного друг от друга.

— Да и нет никаких секретов, — не очень естественно удивилась мать, — с чего ты взял?

— Ты же сама сказала...

— Нет, сынок, это я так просто... Нужно двум людям поговорить. Леонид Сергеевич еще когда заходил, да не застал ее.

Потом Эльвира позвала маму, а мама — Толю.

— Я вот зачем зашел, — объяснил Леонид Сергеевич. — Некоторые люди в связи с приходом фашистов ударились в панику, не знают, как теперь жить. Молодежь беспокоится. — Он посмотрел на Эльвиру. — Это касается тех, кого в армию не взяли, кто не успел или не сумел эвакуироваться. Так вот, я хожу и всех добрых знакомых успокаиваю — чтоб без паники. Эльвиру я, кажется, успокоил. Теперь вам хочу сказать, Наталья Сергеевна, вы тоже не очень паникуйте. Мы ведь на своей земле живем, не на чужой. Это фашисты на чужой земле оказались, пусть они и волнуются. Раз нам пришлось тут жить, надо, выходит, жить точно.

Как это «жить точно», Щербаков не объяснил. Мать внимательно смотрела на Леонида Сергеевича. Он говорил спокойно, без улыбки. Улыбнулся, когда посмотрел на Толю.

— А ты, дорогой товарищ Семенов, должен запомнить на все это время такое положение. Для нашей Родины в данный момент очень важно, чтобы ты любил и берег мать и сестру. Любил и берег.

Семенов ждал, что скажет Леонид Сергеевич дальше, но тот, видимо, кончил свою мысль. Однако уловив его взгляд, он добавил:

— Я не шучу, Семенов. Для каждой страны очень важно, чтобы дети любили своих родителей. Особенно важно это теперь. Представить страшно, что было бы со страной, в которой дети перестали бы любить родителей. Такая страна погибнет, да и не нужна такая страна.

Потом Леонид Сергеевич говорил о том, что у Натальи Сергеевны профессия гуманная и, если доктор Катасонов позовет, надо продолжать работать.

Мать спросила, что будет делать при немцах сам Леонид Сергеевич, на что последовал ответ, который удивил Наталью Сергеевну и Толю и, непонятно почему, рассмешил Эльвиру.

— Думаю открыть свечной заводик, как отец Федор, или погребальную контору «Милости просим».

Вскоре Леонид Сергеевич ушел, оставив на розетке варенье, к которому не притронулся, и недопитую чашку чая.

— Про какого это отца Федора он говорил? — спросила Наталья Сергеевна у дочери.

— Книга такая есть, — ответила та. — Он ее очень любит, «Двенадцать стульев». Это оттуда — и насчет свечного заводика, и насчет погребальной конторы.

— Про нэп книжка? — догадалась мать.

— Про нэп, — подтвердила дочка.

Намерения Леонида Сергеевича не могли не вызывать удивления.

Несмотря на скромную должность, которую он занимал, Щербаков в школе был человеком заметным и уважаемым. Говорили, что он бывший командир Красной Армии, что начинал воевать еще в Гражданскую, чуть ли не в дивизии самого Василия Ивановича Чапа-

ева, потом служил на одной из южных границ, воевал с басмачами в горах Средней Азии и там нашел себе жену — Галину Исмаиловну, которая до него была женой какого-то басмаческого атамана. Вот что знали о Леониде Сергеевиче школьники.

Взрослые знали немногим больше. Говорили, что из-за любви к Галине Исмаиловне он теперь беспартийный и штатский. Говорили, что он не должен был на ней жениться, ибо она в свое время была чуждый элемент. Леониду Сергеевичу предложили вновь вступить в партию, в знак того, что все забыто, но он сказал, что заново вступать не хочет, а будет добиваться, чтобы ему вернули тот партбилет, который в присутствии самого Василия Ивановича вручил ему Дмитрий Андреевич Фурманов.

Семенов хорошо знал Галину Исмаиловну, потому что три года подряд ходил в детсад, где она работала. Галина Исмаиловна была очень худенькая, маленькая, с тонким смуглым лицом и толстыми черными косами, которые делали ее похожей на школьницу. Галина Исмаиловна знала о своем муже то, чего не знал никто, кроме врачей. У него были тяжелые припадки — результат давней контузии, — и случались они обычно тогда, когда он сильно волновался, вспоминая старое. Таких припадков у него было всего восемь или девять, причем четыре в совершенно одинаковой ситуации: он, старый чапаевец, четырежды пытался посмотреть фильм о своем комдиве, и все четыре раза его выносили из кинотеатра без памяти. Всякий раз он терял сознание во время сцены психической атаки. Леонид Сергеевич стыдился своей слабости и после первого случая поехал смотреть «Чапаева» в соседнем рабочем поселке, потом ездил в Псков... Врачи знали о самих припадках, но о том, что старый чапаевец так и не смог досмотреть этот фильм, Галина Исмаиловна не рассказывала никому.

В первый день, в первый час войны Леонид Сергеевич подал заявление в военкомат с просьбой призвать его в армию и одновременно — другое заявление, в горком о приеме в партию. Его пригласили в горком, когда он уже потерял надежду на ответ. Это было в тот самый час, когда фашистские самолеты бомбили станцию Колыч.

Незнакомый человек, которому секретарь райкома уступил свой письменный стол, сказал Щербакову:

— Я знаком с вашим делом и читал ваше заявление. Думаю, что вопрос решится положительно. Со своей стороны обещаю похлопотать о восстановлении всего стажа. Вы довольны?

— Так точно, — по-военному ответил Леонид Сергеевич и встал. — Разрешите узнать, как со вторым моим заявлением, относительно фронта?

— Присядьте, — сказал незнакомец. — Относительно второго заявления я и хотел побеседовать с вами подробно.

Леонид Сергеевич внимательно слушал и вглядывался в лицо собеседника. Это было очень простое и очень усталое лицо, как у многих в эти дни в прифронтовой полосе. На незнакомце был мятый пиджак и косоворотка. На низком подоконнике лежала шинель без петлиц.

— От имени командования должен сказать, что ваша кандидатура нас заинтересовала. Мы еще не можем принять относительно вас окончательного решения. Об этом мы вас известим.

— Когда?!

— Немного погодя.

— Каким образом? — спросил Щербаков. — Ведь со дня на день...

— Мы постараемся найти способ.

Эти слова не понравились Щербакову. Что значит «постараемся найти способ»?

— А если этот способ не найдется? — прямо спросил он. — Я, товарищ...

— ...Дьяченко, — подсказал незнакомец. — Я думал, вас предупредили, с кем вы будете говорить.

— Нет, меня не предупредили, товарищ Дьяченко. И я не претендую на особое доверие. Я его еще заслужу. Еще встретимся, я думаю, на равных. Я верю в это.

Карп Андреевич Дьяченко понимал трагедию этого человека. Ему не доверяли, а он был достоин доверия. Дьяченко знал это, но решал не один он.

— Надеюсь, — скупое сказал Дьяченко, — надеюсь, что я не ошибусь в вас. Давайте договоримся так. Я дам вам несколько частных советов, не от имени командования, а пока от себя лично. Этот разговор ни

к чему нас обоих не обязывает, явок и связей мы друг другу не даем. Хорошо?

Леонид Сергеевич оценил оказанное ему доверие.

— Хорошо, — сказал он. — Я понимаю.

— Я не принадлежу к числу оптимистов, — говорил Дьяченко, — и не думаю, что нам удастся за одну зимнюю кампанию победить Гитлера. Гитлер не Наполеон, но и сейчас не восемьсот двенадцатый год. Нужно беречь силы для длительной борьбы в тылу врага. В длительной борьбе главное — подбор людей. Вот уж поистине — лучше меньше, да лучше.

За окнами горкома был яркий день. Неподвижно стояли деревья, и в широком луче солнца, падающем между тяжелыми шторами, плясали пылинки. За наглухо закрытыми окнами слышались взрывы. Это второй раз за день фашисты бомбили станцию Колыч.

— Теперь о вашем положении в городе... На самое первое время рекомендую оставаться вполне легальным. У вас очень удачное для фашистов политическое лицо: бывший командир, бывший член партии, человек, с их точки зрения, обиженный. Вы таким и будете... Хорошо бы открыть кустарную мастерскую. Есть у вас какая-нибудь производственная профессия?

— Была когда-то, — не очень уверенно сказал Щербаков. — Работал я жестянщиком, медником, кровельщиком.

— Прекрасно! — кивнул Дьяченко. — Станьте кустарем, повесьте вывеску. Они это любят.

— Похоронное бюро «Безенчук и Нимфа»? — Щербаков позволил себе улыбнуться. — Или еще можно: Погребальная контора «Милости просим». — Он почти наизусть знал оба романа Ильфа и Петрова и был убежден, что все помнят эти книги, как он.

— Погребальная контора «Милости просим»? — переспросил Дьяченко. — Нет, это слишком. Это может вызвать подозрение.

— Это из романа «Двенадцать стульев», — подсказал Леонид Сергеевич.

— Да, да, — сказал Дьяченко, — ну, конечно же. — И добавил на прощание: — Прекрасно, что у вас хватает юмора, чтобы вспоминать смешное. В тылу врага страшнее, чем на фронте. На фронте люди вмес-

те, у всех одна цель, одна судьба. В тылу врага люди разные, цели разные и средства к достижению цели разные. В тылу подлости больше, чем на фронте.

Два часа назад Леонид Сергеевич вошел в здание горкома через главный подъезд, а вышел он оттуда через сад. Это было понятно. В горком он входил как обычный гражданин, а выходил в качестве человека, которому отныне предстоит бороться в тылу врага. Пока это была только личная договоренность, пока это было не вполне официально, но в тот момент для Леонида Сергеевича это не имело никакого значения.

НОВЫЙ ПОРЯДОК

Фронт ушел на восток, и гул войны удалился вместе с надеждой на скорое возвращение своих. Немецкая пропаганда работала вовсю, сообщая о победах, победах, победах... У фашистов в этой пропаганде были козыри, и какие! За первые месяцы войны они захватили Литву, Латвию, Эстонию, Белоруссию, Молдавию, часть Украины. На сотни километров в глубь нашей территории проникли гитлеровские полчища.

В Колыче фашисты неторопливо и обстоятельно разворачивали свои тыловые учреждения, подыскивали предателей для «местного самоуправления» и полиции. По чьей-то хитрой подсказке фашистская администрация решила особо выделить и окружить почетом старейшего в городе врача — хирурга Льва Ильича Катасонова. Оккупантам нравилось, что доктор Катасонов ни на день не прекращал работы и в первое утро оккупации явился в больницу ровно в восемь. Он очень рассердился, что отсутствуют многие из его сотрудников.

Жители Колыча узнали об этом по радио, потому что фашисты позаботились в первые же дни наладить городскую радиосеть.

Наталья Сергеевна выслушала сообщение о своем шефе и не удивилась, когда вскоре он прислал за ней больничного конюха. В тот день они вдвоем без ассистента сделали очень сложную операцию — ампутировали ногу девочке, которая подорвалась на mine в десяти километрах от Колыча. И опять фашистское радио сообщило о том, что господин Катасонов есть наивыс-

ший образец русского человека, верного своему долгу, что он честь и совесть русской нации и Германия высоко оценит его заслуги. Сообщалось также, что в знак уважения к господину Катасонову решено не выселять больницу, как предполагалось ранее, а для немецкого военного госпиталя использовать помещение детского санатория «Сосновый бор». Каждый в Колыче знал, что детский санаторий «Сосновый бор» во много раз удобнее, чем городская больница, построенная в конце прошлого века.

Аспидно-черные, глянцевые тарелки репродукторов городской радиосети, которые издавна висели в каждом колычском доме, оказались первыми изменниками, первыми предателями. Они говорили теперь по заданию оккупантов и от их имени. Они пели фашистские песни, кричали «Хайль Гитлер!» и вообще вели себя нагло. Действительно, кто бы потерпел постояльца, который в любое время суток по собственному желанию вдруг начинает чему-то учить хозяев, чего-то требовать, грозить, обижать, унижать и к тому же постоянно врать и хвастаться. Хорошо еще, что через громкоговорители оккупанты не могли подслушивать, что говорилось в домах, однако и без того черные тарелки были как соглядатаи: в их присутствии люди боялись говорить, что думали.

Люди ненавидели их, но слушали. Они ругали радио, дикторов, композиторов, сочинявших песни для фашистов, певцов, которые пели эти песни, и, отойдя подальше от репродукторов, шепотом передавали друг другу слухи. В этих слухах были страх перед будущим, надежды на лучший исход, а иногда, впрочем, и довольно точные сведения о событиях важных и очень важных. Слухи часто вовсе не отражают реальной жизни, но всегда дают точное представление об умонастроениях людей.

Когда-то к концу лета в Колыч съезжалось много молодежи — студенты, учащиеся техникумов и отпускники. Так было заведено. Приезжали проведать родителей, людей посмотреть, себя показать. От зари до зари было шумно тогда в этом уютном городке, в его парках, садах, на его зеленых улицах. Теперь после десяти вечера на улицах была слышна только чужая речь чужой смех, чужие шаги. Изредка высоко в небе гуде-

ли самолеты, но трудно было понять, чьи они и куда летят, — то ли Москву они будут бомбить, то ли Берлин.

Со дня своего тайного ночного возвращения в райтоповский двор Александр Павлович Козлов стал одним из самых внимательных и чутких слушателей городской радиосети. Он почти не спал по ночам, часто вскакивал с постели, прислушивался к шагам на улице.

Александр Павлович боялся расстрела.

— Таких, как я, они расстреливают запросто. Без суда и следствия. Я же ответственный работник городского масштаба. Таких сразу к стенке.

— Ты же, Саша, беспартийный и не еврей, — пробовала утешать его Антонина. — А они только коммунистов и евреев.

— Докажешь им! — взрывался Александр Павлович. — Радио слушай, а то гремишь пустыми ведрами да языком машешь без толку. Они расстреливают коммунистов, евреев, активистов, тех, кто нарушает приказы, кто... А я активист. Это все в городе знают.

Антонина сначала верила мужу и боялась за него, потом начали убывать запасы еды, а голод, как говорится, не тетка. Антонина ходила на рынок, кое-что покупала, кое-что меняла, но долго так продолжаться не могло. Муж, которого сама природа определила в добытчики, безвольно сидел у черной бумажной тарелки, худел, желтел, и голос его становился все более слабым и жалобным.

Настал день, когда Антонина сказала Александру Павловичу:

— Хватит сиднем сидеть! Жрать-то уж нечего. Я объявление видела — грузчики нужны на станцию. Может, возьмут тебя.

Александр Павлович не возмутился, что ему, ответственному в недавнем прошлом работнику, предлагают идти на такую работу. Он обрадовался, что может пойти в обычные грузчики. Сила у него, слава богу, есть. Действительно, что это он возомнил себя ответственным! Подумаешь, ну и был техноруком гортопа, точнее, даже не техноруком, а исполняющим обязанности технорука! Подумаешь, ответственная работа! Ну, ездил по ближним лесопунктам, распределял пилы, топоры, телеги, ну, проверял еще качество дров.

Разве он ответственный работник? Козлов понял, что он сам себя считал ответственным работником, и люди почему-то верили ему. Очень утешало Александра Павловича и то, что он никогда не был в партии. То досадное обстоятельство, что он много раз пытался в нее вступить и всегда получал отказ, теперь в его глазах значения не имело. Наоборот! Оказывается, при большевиках он был в числе гонимых, непризнанных.

Так постепенно, находясь в добровольном домашнем заточении и мучительно размышляя о своем будущем, Александр Павлович пришел к выводу, что на кусок хлеба он сможет заработать и при фашистах. Непривычная работа мысли истощила его физически, в результате чего лицо Козлова приобрело некоторые признаки интеллигентности. С этого дня он включил городскую трансляцию на полную мощность и слушал передачи без бывшего страха.

Однажды вечером ему пришла в голову мысль, что он мог бы пойти на разгрузку не просто рабочим, а к примеру, десятником. Он сказал об этом жене.

— Еще бы, им руководители во как нужны! — отозвалась она. — Во как! Они ведь, чай, не дураки и понимают, что все зависит от кадров. Ты вокруг посмотри: все работают. Наташка как была медсестра, так и есть. Вон про нее и передача была, что, мол, рука об руку с потомственным русским дворянином доктором Катасоновым трудится его верная помощница, простая русская женщина...

— Слышал я, слышал, — скривился Козлов, — но я же не медсестра.

— Ты тоже неплохого происхождения, — отрезала Антонина, — у тебя, чай, комсомольцев в семье нет.

— Это верно, — согласился Александр Павлович. — Я хоть не дворянин, а все же отец мой был урядником.

Весь следующий день Александр Павлович Козлов провел в трудах. Он громыхал чем-то, что-то связывал, упаковывал, лазал по полкам и сундукам. Всю ночь светила щелка в одном из его окон. Утром после бессонной ночи он сел поближе к свету, но так, чтобы с улицы его не было видно, и лезвием безопасной бритвы начал спарывать с трусов голубой галун, а с футболки — букву «Д». Вдруг фашисты увидят эту букву

и подумают, что Козлов состоял в обществе «Динамо», а общество «Динамо», как всем известно, объединяет для занятий спортом работников милиции и НКВД. Поди доказывай потом, что футболку и трусы он приобрел по знакомству в магазине «Спорт и фото».

Часов в девять утра Александр Павлович Козлов, уложив в карманы пиджака необходимые документы, отправился в городскую управу. Он принял решение. К этому моменту у Александра Павловича уже созрело убеждение, что новой власти нужны не только грузчики и десятники. Нужны ей, конечно, и техноруки для организации снабжения города топливом. Недавно сказано у дедушки Крылова: «Оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Так однажды, ссылаясь на великого русского баснописца, писала о невыполнении плана заготовок дров райтоповская стенная газета. Именно со ссылки на басню и решил начать свой разговор с бургомистром Александр Павлович Козлов.

...Все дети любят своих родителей. Во всяком случае, все нормальные дети любят своих родителей. Семенов был нормальным ребенком и любил свою мать. Мало кто из близких представлял себе силу этой любви, а Наталья Сергеевна старалась не думать об этом, потому что тогда ей становилось страшно и за сына и за себя. Причину такой любви она видела в его феноменально ранней детской памяти. Она не понимала, что сама эта память была не чем иным, как проявлением любви.

Семенову казалось, что он помнит себя лежащим в люльке, помнит мать с бутылочкой в руках и сестру Элю в голубом платьице. Это были смутные воспоминания, похожие на сон, а может быть, даже и просто сон, навеянный рассказами старших. Однако лет с двух мальчик помнил мать и бабушку Таню вполне отчетливо.

Главное, что он помнил бабушку Таню, которая умерла, когда внуку не было трех лет. К примеру, он помнил, что бабушка делала дома обойные гвозди для мебельной фабрики. Вот она сидит перед машинкой для делания гвоздей. На ней темное платье в мелкий цветочек, на голове белая марлечка. Машинка у бабушки забавная. Главное в ней — колесо, похожее на

руль автомобиля. Справа от машинки коробочка с обычными гвоздиками, слева коробочка с половинками крохотных медных шариков. Полушарик и гвоздик бабушка вкладывала в машинку, вертела колесо, и получался новый гвоздик со шляпкой, похожей на солнышко: в середине сияющей медной шляпки кружочек, а от кружочка лучики расходятся. Иногда бабушка давала Семенову покрутить колесо.

На кухне за плитой до сих пор лежит железная нога, на которой бабушка сама чинила для семьи обувку. Семенов знал, что в кладовке хранится маленький ржавый снаружи бачок, который внутри неожиданно ярко сияет полудой. Это мороженица. Бабушка все собиралась сделать внукам мороженое, да не успела, потому что умерла в тот год, когда с молоком было плохо, а сахару не достать.

Временами Семенов вспоминал про бабушку что-то еще и иногда рассказывал матери. Она прижимала сына к себе, чтобы он не видел ее слез. Вчера мать достала из-за плиты ногу и принялась чинить сандалии сына. И теперь ему пришлось выбежать во двор, чтобы мать не увидела, как он плачет. Именно вчера сын вдруг заметил, что мать с каждым днем все больше становится похожей на бабушку, а Эльвира — на маму. Он и раньше, испытывая почему-то смутную большую тревогу, замечал это сходство, а теперь сердце его сжалось так, что стало трудно дышать.

Сегодня утром, пользуясь отсутствием матери, он сам принялся за стирку, выполоскал и развесил белье на веревках. В общем-то, у них в семье был договор, что после экзаменов за десятый класс стирка и полоскание белья полностью перейдут в ведение Эльвиры; она сама дала ему честное комсомольское, что так будет. Но каждое утро она уходила по своим делам, хотела устроиться на работу. А про стирку не говорила ни слова.

Наталья Сергеевна ввела в семье четкий распорядок; когда у них день стирки, когда банный день, когда мытье полов и так далее.

Семенов решил сделать своим женщинам сюрприз. Он сидел возле бывшей конюшни на дубовой колоде и придирчиво рассматривал — хорошо ли отстиралось белье. Вдруг он вспомнил, как мать вчера чини-

ла сандалии и как на голове у нее была не косынка, как прежде, а белая стираная марлечка. Вспомнив об этой марлечке, Семенов нахмурился, встал с колоды и, разбежавшись, сделал стойку на руках.

— Толь! — окликнул его дед Серафим. — Толь! Семенов! Тебе ведь говорю!

Семенов встал на ноги и посмотрел на деда. «Сейчас опять чепуху какую-нибудь будет молоть, — подумал он, — или начнет спрашивать, что в городе видел, что мать рассказывает».

— Подь сюда, — говорил дед, — подь, дело скажу. Секрет...

Семенов нехотя подошел.

— Ты ночью спал?

— Спал, — ответил Семенов.

— И Эльвира спала?

— Конечно.

— И мать?

Семенов кивнул, но с трудом сдержался, чтобы не сказать деду какую-нибудь дерзость.

— Во-от! — сказал дед. — А я не спал.

— Так вы же после обеда спите, — возразил Семенов, — и утром тоже бывает.

— Не к тому я, — смиренно сказал дед, — не к тому. Я не жалею. Просьба у меня к тебе, Семенов. Выполнишь?

— Смотря какая... У меня белье сушится, скоро снимать надо, а то пересохнет.

Семенов боялся, что дед пошлет его за махоркой или еще куда.

— На забор тебе слазить не трудно? — просительно сказал дед.

— Это пожалуйста, — обрадовался Семенов. — На какой?

— На наш, конечно. Вон там, где мусорный ящик. Ты на ящик влезь, а потом на забор, а с забора погляди, что там внизу.

— Дед Серафим, — покачал головой Семенов, — ты честно скажи, зачем мне на забор лезть. Ты ведь знаешь, что там овраг.

— Знаю, — сказал дед. — Овраг мне ни к чему. А вот что с той стороны за стеной, это может быть интересно.

— Бурьян там и лопухи,— сказал Семенов, удивляясь дедову упрямству.

— А ну как еще что? — Дед многозначительно прищурился.— Ты слазь, Семенов. Я за бельем погляжу.

В конце концов, что стоит влезть на мусорный ящик, оттуда на высокий забор и поглядеть вниз. Главное, не напороться на гвозди или битое стекло.

Когда Семенов влез на забор, он понял, что зря спорил с дедом. Примяв лопухи и бурьян, на склоне оврага валялось множество всяких интересных вещей. Прежде всего бросались в глаза штук тридцать совершенно новых книг в красных переплетах. Многие из них толстые с золотым тиснением, другие потоньше. Брошюр там было — не сосчитать.

«Откуда же они здесь? — подумал Семенов и сразу догадался:— Вот уж не знал, что у них может быть такая уйма книг. А ведь никому не давали, да и сами не очень были похожи на тех, кто больно много читает».

Словно в подтверждение того, что выброшенные вещи принадлежали именно Козлову, Толя увидел на склоне оврага настольный, крашенный под бронзу бюст Сергея Мироновича Кирова, а еще дальше, чуть не на самом дне оврага, деревянный ящик радиоприемника ЭЧС-2.

Толя прыгнул вниз и первым делом подошел к приемнику. Он перевернул его. Зазвенело стекло разбитых радиоламп. Без них, Семенов знал, приемник работать не может. Однако он взвалил его на плечи, как чемодан, и пошел по тропинке. Хорошо было Козлову выбрасывать все через забор, а вот Семенову теперь приходилось идти кругом, сначала по оврагу, потом по проулку, частью по улице.

В сарае у Семеновых был лично Толе принадлежащий тайник. Это была траншея, которую выкопали, когда решили из конюшни сделать гараж. Траншея была глубокая, с цементными стенами и кирпичным полом.

Когда Александр Павлович подошел к зданию, где еще недавно помещался горсовет и где он бывал неоднократно, у него ослабели колени. Возле подъезда

стояло несколько автомобилей и расхаживал часовой с автоматом. Козлов робко подошел поближе. Он понял, что здесь расположилось не одно, а два учреждения — фашистская комендатура и городская управа.

Часовой с автоматом уставился на Александра Павловича, и пути назад не было. Казалось, стоит повернуться, и автоматчик выстрелит в спину.

Запинаясь, Александр Павлович стал объяснять часовому свои намерения. Он старался вставлять все немецкие слова, которые знал. На язык просилось специально припасенное Козловым обращение «геноссе» — товарищ, но Александр Павлович вдруг испугался произнести это слово в разговоре с представителем высшей расы: фашист ведь мог обидеться. Вспомнилось, что светлейший князь Меншиков из кинофильма «Петр I» обращался к государю «мин херц».

— Мин херц, — сказал Козлов часовому, — мин волен зи арбайтед на дигроссе Германию.

Понял его автоматчик или нет, указал рукой на подъезд, и Александр Павлович быстро поднялся по знакомым шести ступеням. У входа он еще раз оглянулся, слащаво улыбаясь автоматчику, и мелко просеменил в раскрытую дверь. Оказалось, что комендатура занимает второй этаж и часть первого, а городская управа разместилась в трех комнатах налево от вестибюля. В первой комнате Козлова встретила девица с синевато-белой физиономией и волосами цвета лимона. Не то крем с пудрой, не то какая-то другая мазь стягивала кожу ее лица, и когда она начинала шевелить губами, то двигались и нос девицы, и ее уши, и брови.

— Вам кого?

— Я хотел бы поговорить лично с самим господином бургомистром. — Эти слова Александр Павлович заучил еще дома. Лучше всего говорить с «самим», это он знал по опыту.

— Господин главный бургомистр сейчас занят. Я ему доложу.

— Благодарю вас, — сказал Козлов, — нам спешить некуда, мы еще с вами люди молодые.

Он хотел понравиться секретарше. Однако девица с сине-белым лицом никак не отреагировала на его слова. Она скрылась за дверью и, выйдя минут через десять, очень сухо пригласила Козлова пройти.

Как ни перепуган и взволнован был Александр Павлович, но не мог он не сообразить, что главный бургомистр вовсе не был занят делами, а выдерживал посетителя в приемной для поднятия собственного авторитета.

За огромным столом с массивной чернильницей под поясным портретом Адольфа Гитлера в кресле с высокой прямой спинкой сидел бывший продавец магазина «Спорт и фото» Виталька Сазанский.

Дома Александр Павлович много раз репетировал предстоящий разговор с бургомистром, он заготовил и жесты и даже выражение лица. Только это и помогло ему сейчас никак не выразить своего удивления, не хлопнуть Витальку по плечу.

Витальке Сазанскому шел четвертый десяток. Он любил модно наряжаться, хотел, чтобы к нему обращались по имени-отчеству или со словом «товарищ». Однако в городе его звали только по имени. Дело в том, что росту в Сазанском было менее полутора метров и сам он был хиленький, с жиденькой прической на прямой пробор, с тоненькими усиками под тоненьким носом. Здесь под портретом фюрера с усиками Виталька выглядел бы очень комично, если бы не напряженность его мелкого лица, которое вдруг напоминало Александру Павловичу, что и прежде над Виталькой в глаза посмеиваться боялись.

— Виталий... — начал Козлов и запнулся, потому что вдруг забыл отчество Сазанского. Знал и забыл. Вылетело. — Господин Сазанский...

— Можете называть меня просто «господин бургомистр», — поправил его Виталька. — Так пока будет лучше... Я вас слушаю.

Подчеркнутая официальность давно знакомого человека сильно обескуражила Александра Павловича. Он забыл, как хотел начать. А бургомистр откинулся на спинку кресла, и в лице его проступила злость карлика.

— Я слушаю вас, — повторил Сазанский. — Говорите, говорите, я ведь не знаю, зачем вы пришли. Я, в сущности, мало вас знаю. Например, мне интересно, как это вы, член партии и ответственный работник, не удрали с другими и даже явились ко мне на прием.

Не этого ожидал здесь Козлов, не это обещала ему

черная тарелка трансляционной сети. «Неужели я обижал его? — промелькнула мысль. — Кажется, в открытую не обижал. За ту футболку динамовскую и трусы дал пятерку сверху. Куда же больше? И другие так давали, уверен, что не больше. А может, и обидел когда. Кто ж знал, что так обернется».

— Господин бургомистр, — собрав все свое мужество, сказал Александр Павлович, — вы ошибаетесь, я никогда не был членом партии, и комсомольцем не был, вы меня с кем-то путаете, господин бургомистр. И пост я занимал очень скромный, в сущности, инспектор по качеству дров... Я пришел заявить, что хочу работать вместе с вами.

— Разве вы не коммунист? — искренне удивился Сазанский. Уж на него-то в свое время Козлов сумел произвести впечатление. — Тогда другое дело, тогда я готов называть вас «господин Козлов». Садитесь, господин Козлов.

Александр Павлович сел в глубокое кожаное кресло, а Сазанский вышел из-за стола и стал вышагивать вдоль длинной карты СССР.

— Слушаю вас, господин Козлов, слушаю. Старайтесь только ничего от меня не утаивать, ибо я все про вас могу узнать мгновенно.

Александр Павлович и не пытался ничего скрывать. Он честно изложил свои намерения вернуться к делу заготовки топлива, если это нужно для немецкой армии, для городской управы, а также для населения. Он хотел сказать про басню «Стрекоза и Муравей», но сдержался, испугавшись сравнить хозяев с муравьем или, что еще хуже, со стрекозой. Вместо этого он изложил свое сугубо отрицательное отношение к прежней власти и тот бесспорный факт, что его отец, урядник Павел Козлов, был убит взбунтовавшимися фабричными в Смоленской губернии в марте 1917 года.

— Мне кажется, что вы почти искренни, — милостиво заметил Сазанский, — я почти готов вам верить... Но неужели, господин Козлов, вы не чувствуете в себе сил для большего, чем заготовка дров? Смотрите, не упустите время! Меня, например, вы заинтересовали не столько в качестве знатока дров, сколько в качестве знатока леса.

Козлов не понял, какая тут бургомистру разница.

А тот остановился возле карты и стал объяснять, что большевикам конец, что скоро будет взят Ленинград, потом Москва, потом вся европейская часть страны. Бургомистр говорил быстро, громко, отрывисто, с какими-то странными интонациями. Александр Павлович не догадался тогда, что Сазанский старается подражать Гитлеру.

— Крысы бегут с тонущего корабля! Однако бежать надо вовремя. Вы несколько запоздали. Лучшие люди явились к победителям в первый и второй день, а вам еще придется заслуживать доверие.

— Господин бургомистр, — воскликнул Александр Павлович, — жизнью готов ответить!

Сазанский сделал своей крохотной ручкой театраль- ный жест и, как бывший участник самодеятельности, сказал:

— Полноте, полноте, только дураки не понимают, что Германия непобедима. Она протянется от Атланти- ки до Урала включительно; на базе наших, русских, ископаемых и дешевой рабочей силы создаст могучую военную промышленность и покорит весь мир. Весь мир — это пять континентов и, ей-богу, не хватит чистых арийцев, чтобы управлять народами. Они при- зовут нас — всех белых людей, кроме евреев, естест- венно, чтобы управлять черными, желтыми и прочи- ми. Новый мир — это новый порядок, установить который способны только люди одной нации — нем- цы. Для поддержания крепкого порядка, господин Козлов, понадобятся крепкие люди с крепкими нер- вами.

Сазанский сел на письменный стол перед Козловым и хлопнул его по плечу.

— Мы сейчас формируем здесь органы нового по- рядка, если хотите, карательные органы. Вполне веро- ятно, что я возглавлю полицию нашего города, а мо- жет быть, и областную полицию. Нам будут нужны люди. В районный отдел полиции я мог бы рекомен- довать вас... Не как знатока дров, а как знатока лесов. Посмотрите еще раз на карту. Представьте себе, сколь- ко сил и средств придется употребить, чтобы на всей этой территории оставить в живых только тех, кто дос- тоин жить. По самым скромным подсчетам, для комму- нистов, комсомольцев и евреев понадобится огромное

количество кладбищ и крематориев. А ведь есть еще пионеры, цыгане и разные прочие... Я вижу Россию свободной, я вижу широкие автострады вместо гнусных проселков, вижу аккуратно возделанные поля и тихо шумящие заводы, на которых трудятся те, кто ни к чему более не способен. И я вижу, что управляют рабочими те, кто призван к этому по своим природным качествам, по уму и воле... Представьте, господин Козлов, что может быть прекраснее упорядоченной России! Автострады, автострады, заводы и поля, по ночам освещенные прожекторами, чтобы не было воровства. Теперь относительно браков. Все браки между молодыми людьми переходят в ведение администрации. Прекращается этот безудержный разгул нравов...

Александр Павлович никак не мог избавиться от холодного пота, который первый раз прошиб его еще в разговоре с часовым.

Сазанский продолжал:

— В скором времени все изменится. А пока необходимо расчертить страну на четкие квадраты, разделенные колючей проволокой, и прочесывать, прочесывать, сеять сквозь мелкое сито. Обещаю вам, что много кровушки прольется, прежде чем очистится Россия от скверны...

Лет пять тому назад, отбывая наказание за мошенничество, Виталька Сазанский познакомился в тюрьме с крупным уголовником. Тот попал к немцам в первые дни войны, вместе с ними вошел в Колыч и оказал протекцию своему старому корешу.

Впервые в жизни Сазанский чувствовал, что его боятся. Он говорил и говорил и был похож на сумасшедшего. Однако сумасшедшим он не был, как не был сумасшедшим и сам Адольф Гитлер. Обоих их распирало потому, что вокруг не было никакого сопротивления. Так распирает глубоководную рыбу, вынутую на поверхность.

— Итак, я предлагаю вам войти в состав полиции. Но для этого вам дается испытательный срок.

Бургомистр знал, что занимает свой пост временно. Недаром фашисты возложили на него формирование карательных отрядов. Они считали, что на пост бургомистра следует найти фигуру хотя бы и менее деятель-

ную, но более импозантную. Пусть хоть на десять сантиметров будет повыше ростом. Полтора метра! Это же смех, никакой представительности!

Для Витальки не было тайной, что фашисты только недавно отказались от мысли объявить бургомистром Колыча доктора Катасонова. Еще вчера комендант города Келлер опять заговорил об этом со стариком. Тот решительно отказался и резко выдернул из уха слуховой аппарат, когда комендант попробовал настоять на своем.

— Вам придется, — говорил Сазанский Козлову, — для начала письменно сообщить нам обо всех советских активистах, оставшихся в городе. Каждому вы должны дать хотя бы краткую политическую характеристику. Вы готовы! Не советую долго думать, соглашайтесь... У вас большая семья?

— Я согласен, господин бургомистр, — сказал Козлов.

На прощанье Сазанский дал Козлову пачку фашистских брошюр на русском языке.

— Полезное чтение, вы многое поймете.

Вернувшись домой, Александр Павлович принял за чтение. Он понял, что многое, о чем говорил Сазанский, почерпнуто из этих брошюр.

Печатному слову, Козлов всегда очень верил.

ПОДОЗРЕНИЯ

Леонид Сергеевич допустил неосторожность. Он помнил, что в разговоре с Дьяченко пошутил насчет погребальной конторы, но у него совершенно вылетело из головы, что он повторил остроту в доме Семеновых.

Семенов же, напротив, хорошо запомнил непонятную ему шутку Леонида Сергеевича. У него не возникло никаких сомнений на этот счет, когда он увидел на заборе объявлений возле рынка тетрадный листок, на котором стояли те самые странные слова. Как и большинство объявлений, извещающих о том, что продается, что покупается, что сдается внаем, это объявление было написано печатными буквами под копирку:

ПРОДАЕТСЯ МЕТАЛЛОЛОМ!

ФАШИСТСКИЙ ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН —
10 СПЛЮЩЕННЫХ КЛАССНЫХ ВАГОНОВ,
8 ПЛАТФОРМ С ТЕХНИКОЙ, СВЫШЕ
500 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЯЖЕК
С НАДПИСЬЮ «ГОТ МИТ УНС» и I ПАРОВОЗ.
СМОТРЕТЬ МОЖНО ВОЗЛЕ РАЗЪЕЗДА
ПАРМУЗИНО ПОД ВЫСОКИМ ОТКОСОМ
ТАК И БУДЕТ!

Погребальная контора
«Милости просим»

Семенов прочитал объявление несколько раз, все обдумал, но дома ни матери, ни Эльвире ничего не сказал.

Вскоре он прочитал еще одно подобное объявление, где сообщалось, какие потери несут фашисты на фронте и как Красная Армия срывает замыслы Гитлера. Подпись была та же: «Погребальная контора «Милости просим».

О листовках заговорили в городе. Даже дед Серафим спрашивал Семенова, не знает ли он чего-нибудь об этом. Семенов отвечал, что слышит про такое в первый раз, никаких листовок не видел и подпись кажется ему смешной.

— Для кого как! — возразил дед Серафим. — Для тех, кто хоронит, это, правда, весело, а кого хоронят — так не очень. Неплохое название подыскали! Мол, приходите, похороним.

Слушая болтовню деда Серафима, Семенов еще раз подумал, что его догадки неслучайны. Потому он и не счел возможным согласиться с разговорчивым дедом.

— Разве это название для партизан, — сказал Толя. — Лучше бы «Мстители» или же «Смерть за смерть!».

— Может, и лучше, — согласился дед, — только «Милости просим» тоже хорошо, с надеждой на победу.

На это — на улыбку надежды — и рассчитывал Леонид Сергеевич, когда решил именно так подписывать листовки своей подпольной группы. Названия группа еще не имела, и никто об этом пока не думал.

Их было четверо. Расширять группу Щербаков пока не хотел, от Дьяченко никаких конкретных указаний не поступало.

В маленьком городе всё и все, на виду, все друг дружку знают и видят, кто что делает и кто чем живет. Очень трудно не привлекать внимания, жить, как все, говорить, как все, никак не отличаться в толпе, но делать свое дело. Делать дело и не вздрагивать, когда страшно, не оборачиваться, когда тебе смотрят в спину.

Этому Леонид Сергеевич учил подпольщиков с первого часа, об этом говорил им постоянно. Были, однако, у Щербакова трудности, о которых он никому не хотел говорить. За годы, отделяющие Гражданскую войну и борьбу с басмачеством от Великой Отечественной, сильно изменился сам Леонид Сергеевич. Он уже не был тем лихим и бесшабашным рубакой-кавалеристом, который с налету однажды влюбился в красавицу из байского гарема и, собрав вещички в трофейный фанерный чемодан, сначала на двухколесной азиатской арбе, а потом в бесплацкартном, пропахшем карболкой вагоне увез свою перепуганную невесту из полынных памирских предгорий в сосновую Русь. Холостым парнем Ленька Щербаков умел думать только о деле, только о том, что ему поручали; посторонние мысли не отвлекали его, не мешали сосредоточиться. Все начало меняться, когда он, еще в военной форме, но без знаков различия и оружия, не солдат и не командир, пошел работать жестянщиком в небольшую артель металлистов. Это было еще во Пскове.

Мастерская была на бойком месте, возле рынка, и на глазах у заказчиков Щербаков делал ведра, корыта, тазы, котелки, иногда подряжался крыть железом крыши, ладить водосточные трубы.

В мастерской, где работают несколько жестянщиков, всегда стоит грохот — тут много не поговоришь: руки сами находят на верстаке нужный молоток, оправку или киянку, а глаза свободны и голова тоже. Щербаков вглядывался в лица людей, удивлялся им, иногда радовался, иногда пугался.

Раньше Леонид Сергеевич видел всю Землю разом, как глобус, на котором все просто, все есть, а

чего не видно, то и значения не имеет. Теперь глобус занимал его все меньше, а невидимые на нем люди — все больше. Прежде всего оказалось, что все люди отличаются друг от друга не только, если можно так сказать, по качеству, а по чему-то еще. Притом хорошие люди больше разнятся между собой, чем плохие. Иначе говоря, плохие люди, по мнению жестянщика Щербакова, больше походят друг на друга, чем хорошие.

Только желание понять окружающих людей пристрастило Леонида Сергеевича к чтению книг. Не все книги годились для этой цели, одни писатели слишком хвалили людей, другие слишком уж ругали: и то и другое мешало понять жизнь. И в книгах Леонид Сергеевич заметил то же разделение, что и среди людей — хорошие книги были не похожи друг на друга, плохие — на одно лицо.

Чтобы быть поближе к культурным людям и к книгам, Щербаков и пошел работать в школу завхозом. Ради этого переехал в Колыч и Галину Исмаиловну устроил на курсы.

Наверное, был у Щербакова педагогический талант, которому не удалось проявиться. Ему бы преподавать литературу и историю, а он лишь изредка замещал учителя физкультуры и военрука.

Учил Леонид Сергеевич ребят ходить строевым шагом, поворачиваться через левое плечо, показывал им распиленную трехлинейную винтовку, водил стрелять в городской тир. Учил он ребят военному делу, а самого его война застала врасплох.

Выяснилось это не сразу. Прежде всего он почувствовал, что ему очень трудно думать о смерти. Не о своей смерти, а о смерти вообще. Трудно отдавать себе отчет в том, что девчата из его подпольной группы рискуют жизнью, рискуют ее потерять. У него порой возникали мысли и о том, что среди солдат Гитлера далеко не все фашисты, что есть или должны быть среди них люди честные и порядочные, которых жаль лишать жизни. Разве можно допустить, чтобы вместе с сотней бандитов погибал хоть один порядочный человек. Успокоился Леонид Сергеевич только тогда, когда решил для себя, что ни один действительно порядочный человек не может быть фашистским солда-

том. А людей не вполне порядочных или слегка порядочных Щербаков порядочными не считал.

Особенно много думал он об этом, когда готовил крушение воинского эшелона у разъезда Пармузино. После того как крушение произошло, возникло сразу очень много новых забот. Фашистов взорвали их же минами, никто из наших не пострадал. Операцию можно было считать очень успешной.

Леонида Сергеевича беспокоило, как бы подобные успехи не вскружили подпольщикам головы. Да, пока удавалось пускать фашистов по ложному следу, но с каждым днем, с каждой новой диверсией и с каждой новой листовкой росла вероятность того, что фашисты их нащупают. Дело не в ошибках, не в потере бдительности, не в возможном предательстве, а просто в том, что работать в оккупированном городе, не оставляя никаких следов, вещь невозможная. Зная это, Леонид Сергеевич тщательно разрабатывал каждую операцию, остерегался привлекать к делу новых людей и свято соблюдал все многочисленные правила конспирации.

Можно себе представить его удивление, огорчение и даже страх, когда к нему домой пришел ученик пятого класса Семенов и сказал:

— Леонид Сергеевич, примите меня в ваш отряд.

— Какой такой отряд?— не очень натурально удивился завхоз и, едва совладав с собой, переспросил:— В пионерский, что ли? Про такие отряды при немцах я пока не слышал.

— Леонид Сергеевич, я все знаю,— сказал Семенов.

— Что ты знаешь?

— Не сердитесь на меня, но я правда все знаю,— сказал Семенов.— Правда, Леонид Сергеевич.

Семенов не решился пойти со своего козыря и тянул время. Это было его ошибкой, потому что Леонид Сергеевич успел принять решение.

— Я правда все знаю,— повторил Семенов.

— Был в древности такой ученый, звали его Сократ.— Леонид Сергеевич сделал последнюю попытку уйти от разговора.— Так вот этот самый Сократ сказал слова, которые стали крылатыми...

— Леонид Сергеевич,— Семенов склонил голову

к плечу, — не надо со мной шутить, я, правда, все знаю.

— ...Сократ сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю». Этой своей скромностью он прославился больше, чем своей ученостью.

— Погребальная контора «Милости просим». Понятно? — шепотом сказал Семенов, рассчитывая, что теперь Леонид Сергеевич сдастся.

Он ошибся. Леонид Сергеевич остался совершенно спокойным и возразил фразой, которая обескуражила Толю.

— Понял я, понял! А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? Гроб — он одного лесу сколько требует...

Леонид Сергеевич еще долго сыпал какими-то непонятными фразами про Безенчука, а также насчет кистей и глазету. Наконец он спросил:

— Так ты это хотел сказать?

Понятно, что Семенов не мог уверенно отвечать, что он имеет в виду именно какого-то Безенчука, про которого никогда не слышал. Он молчал.

Убедившись, что противник смят и повержен, Леонид Сергеевич придвинул мальчику стул и строго сказал:

— А теперь выкладывай, что тебе в голову взбрело и что ты знаешь на самом деле.

Семенов честно рассказал о том, какие подозрения вызвала случайно оброненная Щербаковым фраза, и о том, что так подписываются теперь партизанские листовки. Еще он говорил, что не может такой человек, как Леонид Сергеевич, примириться с оккупацией. Из всего этого выходило, что отряд у Леонида Сергеевича все-таки есть и остается только принять туда Семенина. Он внятно и четко изложил все это, а когда умолк, то понял, что его аргументы, в сущности, ничего не доказывают и что вообще все это одна фантазия. Леонид Сергеевич окончательно убедил его в этом, рассказав содержание интересной книги, которую должен знать каждый культурный человек. Из этой-то книги и взяты слова, которые, конечно, кого хочешь могут ввести в заблуждение своей странностью и нелепостью.

— Видимо, партизаны тоже читали эту книгу и

так назвали свой отряд,— сказал Леонид Сергеевич,— тут ничего удивительного нет. А ты небось и Эльвиру спрашивал?

— Нет,— сказал Семенов.— Она человек неплохой, но очень скрытная. Если б она и была в вашем отряде, у нее ничего не выпытаешь. Еще и обсмеет.

— Ну, это зря,— строго сказал Леонид Сергеевич,— смеяться тут не над чем. Каждый может ошибиться. Ты расскажи ей о нашем разговоре и передай, что смеяться над тобой не надо. Надо уважать друг друга. Над этим смеяться грешно. А вообще я тебе доверяю и в Гражданскую войну взял бы к себе ординарцем.

На прощанье Леонид Сергеевич подарил Толе книжку «Принц и нищий» с такой надписью: «Т. Семенову, которому я абсолютно доверяю! Л. С. Щербаков».

По дороге домой Семенов отчетливо понял, что Леонид Сергеевич все же обманул его. Он не мог бы сказать, почему он пришел к такому выводу. Он не обижался на Щербакова, но точно знал, что Леонид Сергеевич связан с погребальной конторой «Милости просим». И Эльвира, кажется, тоже.

Александра Павловича не торопились принимать в полицию. Ему поручали слежку за разными малоинтересными людьми, учили писать донесения. Иногда Виталька давал немного денег, немецкого пивидла или бутылку вина и уговаривал:

— Погодите, господин Козлов, даже я сам не утвержден начальником полиции. Обратите внимание: утверждение бургомистра проходит за день-два, а кандидатура начальника полиции согласовывается в нескольких инстанциях и визируется генералами службы безопасности — СД. И, пожалуйста, не болтайте никому, что я вас беру в заместители. Во-первых, это затруднит вам работу, а во-вторых, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

У себя во дворе Александр Павлович постепенно начал обретать былую уверенность. Все чаще он выходил по вечерам на крылечко для просветительной работы среди населения двора, а попутно и для сбора

сведений. Антонина устроилась на работу в солдатскую столовую, и тетя Даша сказала по этому поводу, что Козловы, хотя и толстые, но в любую дыру пролезут, потому что скрозь сальные... Она даже отказалась мыть у них полы, хотя Антонина сулила ей за это пятьсот граммов белого хлеба. Видимо, по совету супруги и не в меру разговорчивый дед Серафим очень осторожничал в своих беседах с Алексеем Павловичем.

— Ну, что скажешь, дед? — начинал Козлов. — Во оно как обернулось...

— Да-а, — говорил дед, — это точно...

— Ведь никто и не ожидал! — говорил Козлов.

— Да уж где там...

— А ведь, может, это и к лучшему все? Кто знает!

— Уж, конечно, никто не знает. Это вам лучше знать...

— А ты-то сам как думаешь?

— Да чего уж я думаю, коли баба портки отняла? Без порток много не надумаешь.

— При чем тут портки, дед? Думать-то надо головой!

— Да уж это кто как... Я, например, больше глазами да ушами думаю. Чего увижу, что услышу, про то и думаю.

— Трудно тебе, дед, — горько вздыхал Александр Павлович, — трудно, когда человек не имеет своего мнения по актуальнейшим вопросам насущной политики.

— Конечно, — соглашался дед. — Мне трудно, тебе трудно и Гитлеру, может быть, трудно. Такая жизнь трудная пошла.

С дедом Серафимом просветительная работа не получилась, и сведений, полезных Сазанскому, тут быть не могло.

Однажды Александр Павлович без приглашения, по-соседски зашел к Семеновым. До войны за много лет ни разу не заходил, а тут явился. Хозяйка мыла пол, и Александр Павлович, перешагнув через ведро, уселся на вымытой половине. Перед Натальей Сергеевной у Козлова был должок. Не он ли недавно наставлял ее на путь истинный относительно работы при оккупантах, а теперь не за горами время, когда сам

наденет повязку полицая. Можно было и не оправдываться перед какой-то медсестрой, но Александр Павлович любил, чтобы его поступки и суждения находили всеобщую поддержку и одобрение.

— Я вот все думаю,— говорил Козлов, сидя на венском стуле посреди комнаты,— насколько легче живет простой, необразованный человек, нежели образованный и умный.

Наталья Сергеевна из вежливости перестала мыть пол, бросила тряпку в ведро и с мокрыми руками села на табуретку.

Александр Павлович продолжал:

— Помнишь, Наташа, говорил я тебе про точку зрения и кочку зрения? Так вот, если посмотреть на вещи шире, то выяснится, что и на старуху бывает проруха. Оказывается, ты была права, когда не хотела эвакуироваться, а я был неправ, когда ругал немцев. Оказывается, это у меня была кочка зрения, если посмотреть на вещи шире.

Александр Павловичу очень давно нравилось выражение «если посмотреть на вещи шире». С его помощью можно было болтать что угодно, с чем угодно соглашаться, против чего угодно возражать. «Если посмотреть на вещи шире...»

Александр Павлович болтал и болтал, поглядывая на смущенную хозяйку, на скромную обстановку и белые стены. Вдруг он увидел фотографию Эльвиры в рамочке из морских ракушек. Эля была с комсомольским значком, и Александр Павлович вспомнил, что не худо бы прощупать Наталью Сергеевну насчет дочери. Расспрашивал он неумело, очень встревожив и насторожив мать. А узнал он только то, что знали все: работает Эльвира швей-мотористкой, работа нетрудная.

Ушел Козлов так же неожиданно, как явился, и Наталья Сергеевна вынуждена была домывать пол остывшей водой. Для ее рук это было вредно.

Всю ночь она не спала.

МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Больница, где работала Наталья Сергеевна — два красных кирпичных корпуса с большими пыльными окнами, выходящими в липовый парк,— находилась в

центре города. Одной стороной больница примыкала к кафедральному собору, который фашисты постарались открыть сразу после захвата города. По другую сторону был Парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Липы в больничном саду опадали, и пыльные сухие листья шуршали под ногами редких посетителей и больных. Здесь никто теперь не подметал. В больнице находились только самые тяжело больные и еще те, кому некуда было уйти.

Не уговорив доктора Катасонова стать бургомистром, фашисты не интересовались больше ни больницей, ни врачами. Они все больше нажимали на «культуру»: устраивали танцы, крутили свои фильмы, организовывали богослужения. На колокольне, с которой еще в двадцатых годах были сняты колокола, повесили два рельса разной длины, чтобы по воскресеньям жители наслаждались благовестом. В церковь ходили старушки, на танцы — несколько девиц легкого поведения. Девушки так ярко красились и так криливо одевались, что весь город знал их.

Вот и сегодня воскресенье. Яркая раскамуфлированная фашистская радиомашинка, которая иногда проезжала по городу с объявлениями, въехала в растворенные ворота парка. Семенов знал, что при помощи этой машины как раз и устраиваются танцы, потому что хоть для какого-нибудь оркестра не могут набрать музыкантов: играть для фашистов и их подруг охотников нет.

«Долго так продолжаться не может, — думал Семенов. — Все люди, которые, вроде меня, мирно ходят по городу, на самом деле мечтают об одном и том же. Каждый понимает, что если один советский человек ценой собственной жизни убьет одного немца, то победа бесспорно будет за нами. Арифметический подсчет: в СССР сто семьдесят миллионов населения, в Германии же, как сказала Эльвира, всего восемьдесят. Сто семьдесят минус восемьдесят. Арифметика в нашу пользу». Но Семенов понимал и другое. «Ведь воюют не все люди, в армии, допустим, пятая часть населения. Значит, тридцать четыре минус шестнадцать. Всего шестнадцать миллионов советских людей долж-

ны пожертвовать собой — и фашизму конец. Всего шестнадцать миллионов. Всего!».

Семенов лично был готов к самопожертвованию и не сомневался в других. Главное, однако, — пожертвовать собой не зря.

Итого следует уничтожить всего шестнадцать миллионов фашистов, и у них не будет никакой армии. А у нас еще останется целых восемнадцать миллионов. От этой арифметики настроение улучшилось, и Семенов стал с интересом рассматривать приказы немецкого командования, расклеенные на стенах домов, на афишных тумбах и заборах. Приказов было множество. Жителям запрещалось: иметь огнестрельное и холодное оружие, собираться группами в общественных местах, выходить на улицу после десяти часов вечера, пускать на ночлег незнакомых людей, иметь радиоприемники, держать голубей и т. д. В конце каждого такого приказа были жирные строчки, извещающие жителей, что за неповиновение — смерть. Разница была лишь в том, что за одни преступления полагается только расстрел, за другие же — виселица.

Семенов заметил, что в немецких приказах, напечатанных русскими буквами, много орфографических и синтаксических ошибок. Он обрадовался. Значит, грамотные типографские рабочие не хотят служить оккупантам.

Он увидел огромный красочный щит, прислоненный к колоннам клуба промкооперации. На щите был изображен высокий стройный человек в синем фраке, в петлице которого вместо хризантемы красовалась свастика. У ног фашиста вилась змея. Текст гласил:

!!!

ЛЕОНАРД ФИЗИКУС

(Иван Митрофанович Пузайчук)

С ДИКИМИ ЗВЕРЯМИ ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

КОРОЛЕВСКИЙ ГИГАНТ-УДАВ

УКРОЩЕНИЕ ЗВЕРЕЙ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!

Прежде всего Семенов отметил два «п» в слове «Европа», и это было тем более странно, что в слове «Россия» явно не хватало одного «с». Потом внимание

Семенова привлекли имя, отчество и фамилия, взятые в скобки. После недолгих размышлений Семенов понял, что Леонард Физикус боялся, как бы фашисты не подумали, что он еврей. Поэтому он и объясняет всем, что Физикус он лишь в цирке, а в жизни — просто Иван Митрофанович.

Постояв возле театра, Семенов пошел дальше. Однако настроение испортилось. Вначале он не понимал причины, по которой у него испортилось настроение, а потом понял. Оказывается, далеко не все люди готовы жертвовать жизнью в борьбе с фашизмом. К примеру, Ивана Митрофановича Пузайчука из списка приходилось сразу же вычеркнуть.

Семенов обогнул театр и в переулке неожиданно столкнулся с Эльвирой. Он удивился, потому что думал, что она на работе.

Сестра не торопясь шла навстречу в нарядном платье, шерстяном жакете и в туфлях на высоких каблуках.

— Ты что здесь делаешь? — строго спросил он.

— Привет, Семенов! — сказала Эльвира.

(Семеновым сестра называла Толю очень редко. Это означало, что она любит брата и гордится им. Например: «Неужто две пятерки, Семенов?» или: «Сам все выстирал? Ну, ты даешь, Семенов!» В данном случае «Привет, Семенов!» было ни к чему, утром они виделись.)

— Ты что здесь делаешь? — опять спросил Семенов. — И жакет у тебя Веркин.

— Точно, Веркин, — сказала Эльвира. — От тебя ничего не укроется.

— А зачем?

— Думаем сегодня на танцы пойти или в театр. Лучше, конечно, в театр, — сказала Эльвира.

— На Физикуса? — возмутился брат. — Он же предатель! И ты его тысячу раз видела, он же каждый год из области приезжал.

— А разве это важно? — сказала Эльвира. — Важен повод повеселиться. Ты еще маленький и не понимаешь. К тому же, говорят, у Физикуса совершенно новая программа. А по окончании танцы.

Семенов заметил, что Эльвира смотрела поверх его головы. Он обернулся и увидел, что на углу прохажива-

вается самая красивая девушка их школы — Вера Иванова.

— Иди,— сказал Семенов.— От тебя я этого не ожидал.

Эльвира поцеловала брата и побежала к подруге.

— Маме не говори!— крикнула она на прощание,

Он и не собирался говорить об этом матери. Она только огорчится. Имело, конечно, смысл поговорить об Эле с Леонидом Сергеевичем. Но эта мысль навела Семенова на совсем новые предположения.

В тот вечер в здании клуба промкооперации должен был выступать не один Физикус, в тот вечер фашисты организовали смешанный русско-немецкий концерт. Вход — по пригласительным билетам. В первом отделении — Леонард Физикус, представитель России, во втором — артистки разъездного немецкого кабаре. И зрители должны были быть смешанные. Немецкие офицеры, эсэсовцы и простые солдаты приглашались в клуб вперемешку с «честными и порядочными» русскими, которых отбирали по спискам, предварительно согласованным и выверенным Виталькой Сазанским.

Придя за полчаса до начала концерта, Семенов увидел у подъезда множество людей, легковые автомобили офицеров и усиленную охрану. Несколько русских в толпе у колонн старались держаться уверенно и нагло расхаживали на виду у всех, зато другие прятали глаза от прохожих, которых здесь, на их счастье, было мало. Ни Эльвиры, ни Веры Ивановой Семенов пока не видел.

«Может быть, они уже там, внутри?» — подумал он и подошел ближе, чтобы заглянуть в вестибюль.

— А ты что тут делаешь, Семенов? — окликнул его Александр Павлович. — Сюда детей не пускают.

У него было отличное настроение: его приняли в полицию, дали повязку и с этого дня таиться не имело смысла.

Семенов оглядел повязку и не удивился. Он вообще не умел удивляться превращениям плохих людей. Подумаешь, превращение! Был трус, стал подлец. Был подлец, стал негодяй, стал полицай.

«Может, он видел, как Эльвира прошла в театр,— подумал Семенов.— Он поставлен здесь, чтобы наблю-

дать». Он хотел спросить Козлова про Эльвиру, но в последний момент почему-то передумал.

— Хочется небось внутрь попасть?— спросил Александр Павлович.— Хочется?

— Да не очень,— честно признался Семенов.— Я этого Физикуса сто раз видел. Он у нас в школе на зимних каникулах выступал. Двадцать копеек за билет.

— Ну, какая у него в школе программа!— хмыкнул Козлов.— Тут ведь другое дело. Хочешь, пропущу?

Если бы Семенов во что бы то ни стало рвался в театр, если бы подошел к Козлову с просьбой пропустить его, тот наверняка ответил бы отказом, чтобы таким образом проявить свою власть. Но Семенов ни о чем не просил Козлова, и проявить свою власть тот мог только одним способом — предложить мальчику пройти без билета.

— Скажу одно слово — и пропустят! Будешь сидеть на галерке.— Не спрашивая согласия, Александр Павлович подвел мальчика к контролю.— Это мой сосед, а мать у него с Катасоновым работает. Пусть на галерку пройдет. Места там должны быть.

В вестибюле толпились фашисты со своими девицами, но ни Веры, ни Эльвиры Толя не увидел.

«Наверно, билетов не достали,— подумал он.— Ну и хорошо, матери спокойней».

Зазвонил звонок, и Семенов стал подниматься по лестнице. Он не раз бывал в этом клубе, и каждый раз на галерке. Сегодня он оказался среди полицаев и немецких автоматчиков, поставленных для наблюдения за зрительным залом сверху. Оглядев своих соседей, Семенов свесился через плюшевый барьер.

В зале было много серого и черного. В сером — солдаты германской армии, в черном — эсэсовцы. Русских было очень мало, до удивления мало. В ложах справа и слева было сплошь черно: черные мундиры с серебряными погонами, шнурками, значками и другими финтифлюшками.

Немцы — народ дисциплинированный. Все сидели на своих местах задолго до третьего звонка. Вскоре заиграла музыка и медленно поднялся занавес.

На сцену вышел маленький усатенький человечек,

в котором Семенов с удивлением узнал продавца из магазина «Спорт и фото». Усатик произносил речь от имени русского населения города Колыча, но Семенов его не слушал, потому что говорил тот вещи довольно известные, вещи, о которых постоянно говорили репродукторы городской сети. Единственное, что отметил Семенов, — наиболее важные и подлые приказы читал по радио именно этот человек: он узнал его голос.

Бургомистр говорил слишком долго и поэтому аплодировали ему не сильно. В ложах справа и слева едва подносили ладонь к ладони, не хотели уставать.

«Наверно, очень большое начальство», — подумал Семенов.

Потом на сцену вышел Леонард Физикус, ведя за руку усталую мартышку. Он показывал фокусы, которые Толя видел несколько раз. По очереди с мартышкой Физикус доставал из большой вазы предметы. Их было так много, что уместиться в вазе они явно не могли. Весь город знал, что их подсовывают сзади или через люк в полу. Сегодня Физикус и мартышка достали из вазы живую курицу, двух кроликов, белую мышь, несколько цветастых платков, колоду игральных карт, пару белых голубей и, наконец, огромный шелковый флаг со свастикой. Торжественно установив флаг на авансцене, Физикус удалился под звуки марша. Зрители долго аплодировали флагу, а когда кончили, то опять появился Физикус.

На шее дрессировщика висел огромный удав. То ли в предчувствии наступающей зимы, собираясь впасть в спячку, то ли из-за плохого питания, то ли из-за отсутствия репетиций, удав никак не хотел обвиться вокруг хозяина. Физикус нервничал, потел, втаскивал удава на свои покатые плечи. Наконец удав обвился вокруг дрессировщика и грустно свесил голову над оркестровой ямой.

— Вот он — страшный удав коммунизма! — воскликнул Физикус. — Удав коммунизма душил нас, но пришли освободители — немецкая армия — и вызволили нас из беды! Ура!

Удав выпустил Физикуса, тот шагнул к рампе и низко поклонился.

— Вот гад! — довольно громко прошептал Семенов, позабыв, что рядом полицаи,

Ведь совсем недавно этого самого удава Физикус показывал на утреннике в этом самом клубе, но называл его тогда «удавом капитализма».

Аплодисменты были жидкие. В ложах совсем не аплодировали, даже рук не поднимали. А Физикус все кланялся, переходя из одного угла сцены в другой. Кланялся он снисходительно, будто все просят его повторить замечательный номер с удавом, а он медлит — может быть, и повторит, а может, не захочет.

В тот момент, когда аплодисменты вовсе иссякли и Физикус направился к кулисам, в ложе справа от сцены полыхнул взрыв. Следом, с интервалом в полсекунды полыхнула взрывом левая ложа. Тут погас свет, и в полной темноте рвануло еще три раза подряд в партере.

Выбраться из театра Семенову удалось не скоро. У всех проверяли документы, а всех русских к тому же обыскивали. Семенов был вне подозрений, потому что сидел вместе с полицаями на галерке.

Он понимал, что мать уже знает о взрыве, и побежал не домой, а к ней в больницу.

ЗАЛОЖНИКИ

Доктора Катасонова вызвали из дому.

Лев Ильич молча оделся, принципиально не спрашивая, что произошло, кто в кого стрелял. И по дороге в больницу, и готовясь к работе в операционной, он спрашивал только о количестве раненых, о тяжести ранений, отдавал распоряжения о первой помощи, о размещении в палатах, об очередности подготовки больных к операции. Он видел, что кто-то из нянечек и медсестер рвется рассказать ему о диверсии в клубе, и предупредил это.

— Меня не интересует политика. Есть, слава богу, разделение труда. Одни стреляют, другие лечат раненых. Мне поздно интересоваться чужими делами... Наталья Сергеевна, будьте любезны, кто у нас первый на очереди.

Наталья Сергеевна знала, что больные здесь отличаются не по именам, фамилиям, полу или возрасту, а по ранениям или заболеваниям,

— Я думаю, ранение мягких тканей спины, осколками задета бедренная кость и предплечье,— сказала она.

— Тяжелее нет?

— Этот — самый тяжелый.

В городскую больницу доставили только русских. Военнослужащих гитлеровской армии и офицеров СС отправили в загородный госпиталь, расположенный в бывшем детском санатории. Говорили, что всего пострадало около шестидесяти человек, убитых более двадцати, среди них трое русских полицаев, охранявших ложи начальства.

Среди тяжелораненых русских оказался и Леонард Физикус — Иван Митрофанович Пузайчук. Это о нем говорила Льву Ильичу Наталья Сергеевна, его первого и положили на операционный стол.

Дрессировщик был бледен и слабо стонал. Рана в предплечье оказалась не опасной, хуже было с мягкими тканями бедра, с тем самым местом, которое, как говорится, ни самому посмотреть, ни людям показать. Леонард Физикус лежал ничком на операционном столе, доктор Катасонов обрабатывал рану: в ней было много заноз — осколков деревянного настила сцены.

— Заморозьте меня, заморозьте,— просил Физикус. — Я не переношу физических страданий, я умру от них.

Доктор Катасонов будто и не слышал этих просьб. Во-первых, он знал, что больной не умрет, во-вторых, был хирургом старой школы и к обезболиванию прибегал лишь в самых необходимых случаях.

— Заморозьте меня, пожалуйста. Я этого не переживу,— со слезами умолял Физикус.— Разве вам трудно?!

Наталья Сергеевна жалела дрессировщика, хотя знала, что боль не такая уж сильная, а новокаина — средства для обезболивания — у них оставалось мало. Наталья Сергеевна всегда жалела тех, кто жаловался.

Лев Ильич оперировал молча, но иногда чуть слышно хмыкал. Это он вспоминал про то, что и сам мог бы оказаться в клубе, и некому было бы его оперировать.

...Приглашения на этот смешанный концерт рассылались всем, кого фашисты хотели привлечь на свою сторону. Их вручали под расписку, как повестки о явке на регистрацию, да и разносили их полицаи. Катаснову приглашение вручил лично Сазанский. Доктор предупредил, что вряд ли придёт.

— Я не люблю эстрадных представлений и легкой музыки. Так и передайте коменданту. Если бы симфонический концерт—Гайди, Моцарт или...—Доктор подумал, что его отказ звучит слишком убедительно и даже угодливо, что такая мотивировка может понравиться коменданту. Он знал, что фашисты ненавидят музыку Мендельсона, и потому добавил:— Передайте господину коменданту, что с удовольствием послушал бы Мендельсона. Запомнили? Мендельсона.

Физикус плакал, слезы текли по его бледному морщинистому лицу, а он проклинал смешанный концерт и объяснял, что вынужден был выступать там, потому что звери его, особенно удав, нуждаются в калорийной пище. Хорошо жонглерам — у них живности нет, шарики, булавы и зонтики есть не просят. Подумайте сами, каково нынче дрессировщику, если у него тигры, львы или удав, а жратвы нет.

Когда становилось очень больно, Физикус переставал жаловаться и подвывал. Его тонкий голос был слышен в коридорах и даже в кубовой, где, то засыпая, то просыпаясь в ожидании матери, на жестком деревянном диванчике сидел Семенов. Поговорить с матерью пока не удалось. Когда он прибежал в больницу, в операционной уже вовсю шла работа.

Семенов сумел все обдумать и успокоиться. Впервые, не следует говорить о том, что видел сегодня возле клуба Эльвиру, и притом вместе с Верой Ивановой. Ни в коем случае нельзя рассказывать, что Эльвира собиралась на концерт. А раз так, то нельзя говорить и о том, что он сам был в театре.

Семенов не имел никаких оснований думать, что Эльвира имела отношение ко взрывам в клубе, и все же, непонятно почему, он думал именно об этом.

Как ни странно, диверсия, произведенная неизвестными злоумышленниками во время русско-немецкого концерта в клубе промкооперации города Колыча, произвела неожиданно сильное впечатление на фаши-

стов. Депеши, простые и шифрованные, полетели во все концы. Из Берлина потребовали срочного и подробного донесения. Дело не только в том, что жертвами диверсии оказались один важный чин СС, несколько старших войсковых офицеров и ведущий хирург армейского госпиталя, племянник самого Гимmlера доктор Гофман. Дело было в том, что об успешных пропагандистских мероприятиях среди населения старинного русского города Колыча было доложено «наверх», было написано в газетах и именно в Колыче фашисты решили продемонстрировать свою лояльность по отношению к местному населению и лояльность населения к себе.

По всей оккупированной территории Советского Союза и вообще во всех ранее оккупированных странах Европы фашисты чинили зверские расправы с мирными жителями. В городах и селах, где прошли их передовые части, воздвигались виселицы, а огромные противотанковые рвы становились братскими могилами для тысяч и тысяч ни в чем не повинных стариков, женщин и детей.

Маленький Колыч был выбран, чтобы доказать миру обратное. Почтальоны городов гитлеровской Германии уже раскладывали в ящики газеты с сообщением о том, что в городе Колыче состоялся совместный концерт, где русские плечом к плечу с немцами пели и танцевали.

Дело было еще и в том, что взрыв в клубе промкооперации оказался самой первой или одной из первых подобных диверсий партизанской войны 1941—1945 годов. Потом взрывы в театрах, кинозалах, ресторанах, кабаре и дансингах преследовали фашистов до конца их дней, но взрыв в маленьком и тихом Колыче был первым.

Пока Лев Ильич и Наталья Сергеевна в городской больнице, а немецкие врачи и медсестры в военном госпитале оказывали помощь раненым, в комендатуре города шло экстренное совещание. Комендант Келлер, его заместитель капитан Ролоф и несколько эсэсовцев вместе с переводчиком уточняли списки, представленные Сазанским. Списки были подготовлены давно и предназначались для того, чтобы исподволь и постепенно убирать из города всех, кто мог оказаться лич-

ностью вредной или нежелательной при проведении длительного пропагандистского эксперимента. В списке включались все члены семей коммунистов, все оставшиеся комсомольцы, все, кто занимался общественной работой, а кроме того, все, кто так или иначе не понравился новому начальству. Всего в списке оказалось более тысячи человек.

— Будем гуманны, — сказал майор Келлер и на цифре 620 поставил галочку. — Обычно мы берем заложников при облавах. Здесь поступим по справедливости. Мы возьмем заложников из числа людей, все равно обреченных, и будем казнить их группами. 620 человек — исходная цифра, по десять за каждого пострадавшего. Сначала мы казним каждого десятого из шестисот двадцати, еще через несколько дней каждого восьмого, затем каждого шестого, каждого четвертого, каждого второго... Мы не будем разыскивать конкретных виновников взрыва, мы заставим само население выдать бандитов... Господин Сазанский, с этого часа ваш несчастный город остается без бургомистра. Назначаю вас ответственным за арест заложников и проведение дальнейших воспитательных мероприятий.

По предложению капитана Ролофа решили объявить по радио, что в связи с розыском диверсантов населению до особого распоряжения запрещается выходить из своих домов.

Список советских активистов, проживающих в районе улиц Луговая, Салтыкова-Щедрина и Овражная, составлял Александр Павлович Козлов. Еще недавно это казалось ему никчемной работой, которую Виталька Сазанский выдумал, чтобы проверить его, Козлова, лояльность. Однако сегодня на исходе сумасшедшей бессонной ночи Виталька вручил Козлову им же составленные списки, дал трех автоматчиков и приказал:

— К тринадцати часам, господин Козлов, ваши сорок шесть человек должны быть доставлены на стадион «Буревестник». Именно сорок шесть, и ни одним меньше. — Он смотрел на Козлова снизу вверх. — А насчет диверсии в клубе вы напишите мне письменное объяснение. Мне кажется, что у вас глаза бегают.

Козлов был уверен, что его непричастность к взрыву доказана, вопрос исчерпан. Сгоряча эсэсовцы надавали по морде многим из дежуривших полицейских. Вскоре, однако, саперы обнаружили провода, которые тянулись из подвала театра в сторону городского сада. Установили, что мины диверсанты заложили дня за два до концерта, когда никакой охраны в клубе еще не было. Причем же здесь Козлов?! Ведь он стоял снаружи, и притом только в день концерта. Знал Александр Павлович и то, что собаки-ищейки сначала взяли след диверсантов, а возле рынка его потеряли.

— Так напишите объяснение, господин Козлов, — повторил Виталька.

Требование Сазанского огорчило Александра Павловича еще и потому, что он чувствовал свою беспомощность и понимал, что Сазанский куражится над ним.

Полициан с автоматчиками усаживались в грузовики и отбывали в разные концы города. Александр Павлович ждал своей очереди и нервничал, он не мог отогнать жуткую мысль, что где-нибудь в архивах обнаружат документы о том, что он, Козлов А. П., несколько раз просился в партию. Да, да, просился, и настойчиво.

Впрочем, думать было некогда. Сев в кабину, Александр Павлович включил карманный фонарик и развернул список, три странички машинописного текста: слева номер по порядку, затем фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес, чем скомпрометирован. Взгляд Козлова упал на фамилию — Чинилкина. Чинилкина Дарья Васильевна.

Тетя Даша попала в список случайно. Она не была ни активисткой, ни тем более комсомолкой, просто издавна не ладила с Козловыми — с самим Александром Павловичем и его женой. Усмехнувшись собственной власти над жизнью и смертью людей, Козлов вначале пожалел соседку, а потом успокоил себя: «Лес рубят — щепки летят».

Вслед за Чинилкиной в списке значилась Семенова Эльвира Вячеславовна, год рождения 1923, комсомолка. Относительно Эльвиры все было в порядке. Комсомолку он обязан был записать — долг есть долг. Плохо только, что все это в своем дворе. Однако он тут ни при

чем. Его дело указать, а забирать будут автоматчики.

...Было ровно шесть часов утра. Шел холодный осенний дождь. Низко висели тучи, и казалось, до рассвета очень еще долго. На городской площади и в домах города Кольча включились репродукторы городской радиосети.

«Внимание! Внимание! Передаем приказ германского командования. В связи с розыском большевистских диверсантов, устроивших подлую провокацию во время дружеского концерта, в течение всего дня населению запрещается выходить из своих домов. Каждый, захваченный на улице без специального пропуска, будет расстрелян на месте...»

Леонид Сергеевич Щербаков считал, что операция прошла успешно. Он еще не знал, что более двадцати фашистов убиты и среди них эсэсовский генерал. Он не знал, что в самом Берлине негодуют из-за срыва важнейшего пропагандистского мероприятия. Для Леонида Сергеевича сейчас главное было в том, что участницы этой диверсии — три десятиклассницы из его школы — живы и невредимы. Создавая свою крохотную группку, Леонид Сергеевич исходил из того, что в ее составе могут быть только абсолютно проверенные люди, те, кого он знает лично, кому может доверять во всем.

А кого он знал в этом городе? Он знал учителей своей школы. Но мужчины сразу ушли в армию, многие эвакуировались. Остались только пожилые, слабые, обремененные семьями. Он знал мальчиков из старших классов. Ребята ушли на фронт в первые дни войны. А девушек-старшекласниц Леонид Сергеевич знал только как завхоз. Под его началом в школе перед праздниками устраивалась генеральная уборка да еще субботники весной и осенью.

В первый день фашистской оккупации, перебирая имена девчат из десятого класса, Леонид Сергеевич прежде всего вспомнил об Эльвире Семеновой. Историю ее семьи Щербаков знал от своей жены и однажды собирался даже пойти к Вячеславу Баклашкину, усты-

дить его за то, что предал детей. Тогда Галина Исмаиловна отговорила его.

Ученики часто не догадываются, какими глазами смотрят на них педагоги, о чем думают. У Леонида Сергеевича и Галины Исмаиловны своих детей не было. Если бы у них была возможность выбирать, они взяли бы сразу двоих — сестру и брата, Эльвиру и Анатолия Семеновых. Леонид Сергеевич сказал однажды об этом своей жене, и та с ним согласилась.

Ни в коем случае не предложил бы Щербаков вступить в отряд Вере Ивановой. Иванова казалась ему слишком холеной и надменной. Она знала себе цену, и мальчики ухаживали за ней класса с седьмого. Однако Леонид Сергеевич понимал, что Эльвира все равно обо всем расскажет Вере, потому что они были самыми близкими подругами.

Третьей в группе Леонида Сергеевича была Надя Андреева, худенькая, беленькая, аккуратная и очень тихая. Надя была комсоргом десятого класса и членом учкома.

До сих пор девушкам поручались наиболее простые вещи. Они собирали сведения, необходимые для диверсий, писали и расклеивали листовки. Когда Леонид Сергеевич готовил взрыв эшелона у разъезда Пармузино, девочки доставляли ему туда взрывчатку.

Операцию в клубе Леонид Сергеевич в основном готовил сам. Это он заложил мины и сделал проводку. Но у разъезда Пармузино Леонид Сергеевич сам же и включил взрыватель. Теперь он поручил это Эльвире и Вере. К счастью, все сошло хорошо.

Леонид Сергеевич сидел за столом и поверх занавески смотрел в мокрое окно. Там, за стеклом, было холодно. Город спал. Не лаяли собаки, и петухи почему-то еще тоже молчали. За спиной Леонида Сергеевича на двупальной никелированной кровати спала Галина Исмаиловна, Гюльнора, дочь Исмаила, единственная узбечка в этом городе на западе России. Не оборачиваясь к жене, Леонид Сергеевич точно знал, как она лежит — на левом боку, без подушки, и как лежат ее волосы — огромная копна черных волос, и какие молодые у Галины Исмаиловны руки..

«Внимание! Внимание!» — сказал репродуктор. Леонид Сергеевич подкрутил гаечку, чтобы было по-

тише. «Передаем приказ немецкого командования. В связи с розыском большевистских диверсантов, устроивших подлюю провокацию во время дружеского концерта...»

«Не найдут, — успокоил себя Щербаков. — Девчат, во всяком случае, не найдут».

Откуда ему было знать, что фашисты вообще отказались от поисков подлинных виновников. Они прекратили эксперимент в городе Колыче и перешли к обычной своей тактике — массовому террору. Леонид Сергеевич не знал, что в список 620 заложников попала вся его группа, все три девочки. Они были комсомолки. Они комсомолки, этого достаточно.

Леонид Сергеевич вышел на кухню, аккуратно оторвал листок календаря, отделив часть его на сигарку; из кожаного кисета он насыпал махорки, поглядел на ходики. Двадцать минут седьмого. Он закурил, потом разжег керосинку, поставил на нее тяжелый медный чайник.

Захотелось разбудить жену и рассказать все, о чем думает. Он заглянул в комнату. Свет из кухни упал на постель. Галина Исмаиловна спала на левом боку, поверх кружевного пододеяльника лежала ее тонкая смуглая рука.

Они завтракали, когда за окном остановилась машина и послышалась немецкая речь. Леонид Сергеевич отставил тяжелую фаянсовую кружку с горячим чаем и встал. В правом кармане брюк лежал парабеллум, отличный немецкий пистолет, из которого Леонид Сергеевич ни разу не стрелял. В Гражданскую ему приходилось стрелять из разных винтовок, из револьвера типа «наган», из кольта и даже из маузера. Маузер был тогда в моде, и достать такое оружие удавалось не каждому. В кармане пальто, висевшего у двери, Леонид Сергеевич держал гранату. Он приготовился к сопротивлению и знал, что не дастся живым.

В дверь постучали.

— Открой, Галя, — сказал Леонид Сергеевич, — если ко мне, пусть проходят сюда, а ты подожди на улице. Мало ли что может быть.

Она понимала, что может быть.

Леонид Сергеевич напряженно вслушивался в разговор у входной двери.

Важно, чтобы Галя была подальше от стрельбы и еще — дай бог! — чтобы не было припадка. Щербаков боялся, что в самый ответственный момент он может потерять сознание. Он не боялся смерти, он боялся, что припадок помешает ему умереть, как того хотел. Скоро Галина Исмаиловна вошла в комнату в сопровождении фашистского автоматчика.

— Какая-то странная история, — растерянно сказала она. — Наш квартальный полицейский явился с немцами и требует, чтобы я немедленно отправилась с ними в детский садик. Он говорит, что искали заведующую и не нашли. Им нужно открыть помещение, а дверь они ломать не хотят.

В комнату просунулась большая голова Юрки Гордеева, квартального полицейского.

— Здравствуйте, Леонид Сергеевич! — радостно приветствовал он Щербакова. — Простите, что такое дело. Фрицы эти в садике хотят контору свою разместить какую-то, а дверь ломать не желают. Они порядок любят. Пусть супруга ваша откроет им, а садик-то все равно без пользы.

Юрку Гордеева Леонид Сергеевич знал хорошо. В прошлом году бросил школу, уйдя из восьмого класса, в котором остался на третий год. Это была потеря для школьного спорта. Гордеев участвовал во многих спортивных соревнованиях в городе и даже в областной спартакиаде. У него были зеленоватые неподвижные глаза с длинными ресницами. Крупная голова с крупным выпуклым лбом казалась совсем детской.

— Мы щас, Леонид Сергеевич, — улыбался Гордеев, — у нас вон машина стоит. Чик-чирик — и готово!

Галина Исмаиловна нашла ключи от детского садика, накинула платок, сняла с вешалки телогрейку.

— Не волнуйся, Леня, я быстро.

Все получилось не так, как ожидал Леонид Сергеевич. Вроде бы зря тревожился, зря напрягся, зря боялся припадка. Арест без обыска казался ему бессмысленным. И потом, кто бы мог заподозрить Галину Исмаиловну в том, чему виною был сам Леонид Сергеевич?

«Хорошо, что хватило выдержки, — думал Леонид Сергеевич. — Какое ужасное совпадение! Я мог бы погибнуть сам, погубить жену и всю группу».

Леонид Сергеевич никак не предполагал, что его тихая жена попала в число шестисот двадцати заложников только потому, что была председателем месткома у себя в детском саду. Никогда Леонид Сергеевич не поверил бы, что за ключами от детского сада могут приехать три вооруженных солдата да еще один полицейский. Однако у Юрки Гордеева было такое глупое лицо, что Леонид Сергеевич не считал его способным на подобную хитрость.

К двум часам дня все шестьсот двадцать заложников были собраны на стадионе «Буревестник», пересчитаны, переписаны и под конвоем автоматчиков с собаками отведены за березовую рощу в гравийный карьер, который отныне должен был стать их тюрьмой. Карьер представлял собой глубокую яму с одним только выездом, недалеко от которого стояло похожее на барак здание конторы. Над карьером были оборудованы долговременные пулеметные гнезда.

В половине третьего городское радио объявило, что жители могут выходить на улицу и заниматься своими делами.

Наталья Сергеевна шла медленно. В глазах у нее мелькали и роились черные точки, в левом боку болело, плечо и рука были как не свои. Семенов шел рядом с матерью и все время спотыкался, потому что не мог оторвать взгляда от ее лица. Он понимал, что мать думает об Эльвире, думает так же, как он, но знает больше.

Вчера еще было сухо, но дождь, начавшийся ночью, не переставал. Они шли, не разбирая дороги, и ноги у обоих были в грязи по щиколотку. В райтоповском дворе первым увидели деда Серафима.

Он стоял под дождем в суконных штанах и в зимней шапке. Наверно, давно стоял он так, потому что совершенно мокрая рубашка облепила его огромный живот и брюки тоже были совсем мокрые.

— Бабу мою взяли, — сказал дед Серафим. — Приехали и взяли. Александр Павлович с двумя фрицами, третий в машине. Партизан ищут. Видно, такой хитрый у них порядок для следствия. — Дед Серафим делал умозаключения для того, чтобы успокоить се-

бя. — Хитрый порядок. С каждого двора берут одну девку молодую, одну бабу старую. Хитро делают... Знают женскую натуру. Все одно — какая-никакая баба, а проболтается. Они баб вместе собирают, а потом подслушивают. Бабы что хошь выболтают...

Наталья Сергеевна двинулась к своему крыльцу. Семенов поддерживал ее, чтобы не упала.

— А Козлов говорит, к завтраму всех невинных выпускают. Или к послезавтрему... — крикнул вслед дед Серафим. — Уж он знает... — И добавил неожиданно для себя: — Подлюга...

В квартире Семеновых все было на своем месте. Когда брали Эльвиру, обыска делать не стали.

Наталья Сергеевна легла не раздеваясь. Семенов накапал ей валерьянки, она покорно выпила. Лежала молча. Сын приготовил поесть, мать отказалась.

За окнами шел дождь. В доме было тихо. Молчала и черная тарелка репродуктора.

Поздно вечером Виталька Сазанский сообщил населению города, что немецкое командование взяло шестьсот двадцать заложников, по десять за каждого пострадавшего в клубе промкооперации.

«О дальнейшей судьбе заложников будет объявлено особо», — сказала тарелка.

ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА

Она словно бы и не помнила, что должна идти на работу. Сначала долго лежала, потом наконец встала и медленно копошилась по хозяйству. Начинала одно дело, не закончив, бралась за другое, а то вдруг садилась и смотрела прямо перед собой ничего не видящими глазами.

В двенадцатом часу на больничной таратайке в райтоповский двор приехал Лев Ильич Катасонов. Никогда прежде не бывал у своей операционной сестры. Теперь приехал, потому что узнал об аресте Эльвиры. Он суетился, но спешил сам и торопил свою верную помощницу.

— Поедьте, Наталья Сергеевна, надо что-то делать. Нельзя терять время.

Мать послушно собралась. Они уехали, и Семенов

остался один. Ни с кем, кроме доктора Катасонова, он ни за что не отпустил бы мать из дому. Доктор же знал, что делал.

Всю дорогу до больницы Лев Ильич молчал, но возле самых ворот вдруг попросил повернуть к комендатуре.

Угрюмые автоматчики пропустили его беспрепятственно. Старик поднялся на второй этаж, куда указывала стрелка с аккуратной готической надписью. Ему сказали, что майор Келлер отсутствует. В приемной дежурили два одинаково плешивых и толстомордых писаря. Доктор объяснил, кто он, попросил немедленно связать его с комендантом.

Лев Ильич с трудом говорил по-немецки, потому что в последний раз был в Германии в конце прошлого века, когда защищал диссертацию в Берлинском университете. Старший из писарей предложил доктору лист бумаги и сказал, что заявление будет сейчас же передано коменданту. После мгновенного колебания Лев Ильич сел за стол.

Совсем недавно он дал себе слово ни по какому поводу не обращаться к оккупантам с просьбами. Он хотел делать вид, будто ничего не изменилось, будто фашистов и нет совсем. Сейчас он нарушал данное себе самому слово. К тому же Лев Ильич лгал. Доктор писал, что он хорошо знает дочь своей операционной сестры, часто беседовал с нею и на этом основании заверяет власти, что девочка не интересуется политикой и ни в чем противозаконном замешана быть не может. Еще Лев Ильич писал, что лично ручается за Эльвиру Семенову и просит коменданта дать ему право присутствовать на допросах, ибо девушка не достигла еще совершеннолетия.

Лев Ильич понимал серьезность момента и потому преступил все свои правила. Он подписался так, как никогда не подписывался: «Доктор медицины Берлинского университета, русский дворянин Лев Ильич Катасонов».

В больнице он вел себя с Натальей Сергеевной так, будто ничего не случилось. Сразу же нагрузил работой, поручил заново стерилизовать перевязочный материал, халаты, простыни, инструменты. Время от времени он уходил к себе в кабинет и звонил в

комендатуру. Ему вежливо отвечали, что майор Келлер еще не появлялся.

Между тем майор Келлер давно сидел за своим столом, и заявление доктора Катасонова лежало справа от него вместе с другими прочитанными бумагами. Комендант был хороший службист. Прочитав заявление Катасонова, он прежде всего взял список тех, кого должны были казнить первыми. В этом списке было 62 человека, и искать там нужную фамилию было легче, чем в общем списке. Комендант омрачился, увидев, что Семенова Эльвира Вячеславовна в нем значится. Он считал, что в данном случае ничем не может помочь маститому хирургу. Было бы крайне несправедливо, чтобы вместо Семеновой Эльвиры Вячеславовны казнили кого-то, чье имя стоит в общем списке непосредственно после Семеновой или непосредственно перед ней. О том, чтобы казнить одним человеком меньше, не могло быть и речи.

В три часа дня радио сообщило, что ровно через час на стадионе «Буревестник» будут повешены первые заложники. Населению объявили также, что день следующей казни будет назначен в ближайшее время.

Лев Ильич позвонил в комендатуру еще раз. Ему опять сказали, что майора нет. На сей раз это была правда. Келлер только что отбыл к месту казни. Лев Ильич зашел к Наталье Сергеевне в стерилизаторскую, проверил давление в автоклаве, сделал какие-то замечания, а потом не удержался и сказал так, как говорил после самой тяжелой хирургической операции:

— Мы сделали все, от нас зависящее, — это главное. Остальное в руке божьей.

Стадион находился вне городской черты. Объявление по радио было сделано довольно поздно, поэтому родственники и друзья всех шестисот двадцати, кого взяли в качестве заложников, бросив свои дела, побежали к стадиону.

Это было большое зеленое поле на опушке прекрасной березовой рощи: трибуны с одной лишь стороны, а вокруг — низенькая ограда из штакетника.

Семенов бежал впереди всех, он в числе первых окзался на стадионе и видел все. Он видел, как их вели

со связанными руками к длинной-длинной виселице, поставленной параллельно трибунам. На трибунах было полным-полно фашистов, многие с фотоаппаратами.

Когда все было кончено, перед Келлером поставили микрофон. Он говорил медленно, переводчик внятно его переводил, а мощные репродукторы радиомашин далеко разносили их слова.

Комендант объяснял населению, почему им избрана такая система наказания, что система заложничества применялась во все времена, и пообещал, что дальнейшие казни заложников могут быть и прекращены, если горожане сами поймут и выдадут властям всех большевистских диверсантов.

Леонид Сергеевич к самой казни опоздал. Он вбежал в ограду стадиона и издали сразу увидел свою жену. Она висела высоко над землей спиной к нему. Во всем городе только у нее были такие черные, такие тяжелые косы. Леонид Сергеевич поспешно отвел глаза. На другом конце виселицы он увидел Элю Семенову. Щербаков узнал ее крепкие ноги в подростковых туфлях без каблуков. Он внезапно почувствовал тяжесть в затылке, в глазах медленно полетели цветные круги. Это начинался приступ.

Комендант Келлер продолжал объяснять населению свою точку зрения в вопросе о казнях.

В половине пятого Лев Ильич Катасонов еще раз позвонил в комендатуру. В соответствии с данными ему указаниями, писарь, дежуривший у телефона, ответил, что комендант Келлер так и не появлялся, но, как удалось выяснить, просьба доктора запоздала, ее нужно было подать вчера, ибо заложница Семенова уже казнена. Он очень сожалеет, а господин комендант сожалеет еще больше.

...Комендант Келлер говорил и верил в значительность каждого своего слова. Он был высок ростом и выглядел моложе своих лет. Ему давно исполнилось сорок, а на вид было не более двадцати пяти.

Комендант Келлер говорил, а Леонид Сергеевич протискивался ближе к трибуне. Семенов увидел его и

сразу понял, что сейчас произойдет: такое лицо было у Щербакова. Толя видел, как опустилась в карман рука Леонида Сергеевича.

Через мгновение раздался выстрел.

Первым упал Келлер, потом еще кто-то, потом еще.

— Отличный пистолет парабеллум, — шептал Леонид Сергеевич, — отличный пистолет!

А думал он о том, что приступ опрокинет его через несколько секунд.

Две последние пули Щербаков оставил для себя. Так он победил свою болезнь.

Немецкий врач из военного госпиталя, длинный черный человек в роговых очках, присутствовал на стадионе по долгу службы, — во время казни обязательно должен быть врач.

Очкастый первым очутился возле Келлера. Одна пуля пробила коменданту легкое, другая попала в живот и задела позвоночник.

— Немедленно в русскую больницу, только в русскую, — приказал врач, — у нас нет хороших хирургов.

Вообще-то говоря, хирург госпиталя, молодой врач, мог делать несложные, ординарные операции. Но раны Келлера были слишком серьезны, его мог спасти только очень опытный и смелый хирург. Таким был врач, который погиб во время взрыва в клубе промкооперации.

Коменданта Келлера доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии. Капитан Ролоф, как старший по званию, заступил на его место и распорядился, чтобы раненого немедленно отнесли в операционную и положили на стол.

Немецкий врач вбежал в кабинет Льва Ильича, когда тот собирался уходить и, стоя у вешалки, надевал свои сверкающие, чисто вымытые нянечкой галоши. Темно-синее драповое пальто доктора уже было застегнуто на все пуговицы.

— Прострелено левое легкое, явный пневмоторакс, — рассказывал немецкий врач Катасонову, — вторая пуля прошла вблизи белой линии и, по моим предположениям, застряла в позвоночнике.

Десятки лет доктор Катасонов вырабатывал в себе привычку прежде всего думать о больном, и даже не

о больном, а о самой болезни. Когда его будили среди ночи для экстренной операции, одеваясь, или шагая по ночному городу, или едучи на извозчике, он четко представлял себе, какие мышцы, какие фасции ему придется рассечь, какие для этого понадобятся инструменты, какие медикаменты. Он и сейчас не интересовался, кто ранен.

Лев Ильич снял галоши и расстегнул пальто. Он собрался послать нянечку за Натальей Сергеевной и даже подумал, как хорошо, что она не знает еще о смерти Эльвиры. Да, он подумал так, потому что операционная сестра должна работать с полной отдачей.

Капитан Ролоф сказал:

— Командование отблагодарит вас. Майор Келлер имеет огромные связи. Кроме того, он богатый человек.

Льву Ильичу показалось, что он ослышался. Он прижал к уху слуховой аппарат.

— Кто ранен?

— Комендант Келлер и еще двое,— объяснили ему. — Тех отвезли в госпиталь.

Лев Ильич никогда не видел коменданта Келлера и понял, что ни в коем случае не хочет видеть его.

— Комендант Келлер? — переспросил он.

— Да, да... стрелял неизвестный партизан... две пули. Одна пробила легкое...

Лев Ильич не помнил лица Эльвиры, и оно не встало перед ним в эту минуту. Он знал, как наступает смерть при повешении, но и об этом не вспомнил сейчас. Не вспомнил он и о том, как его сегодня дурачили в комендатуре. В отдельности всего этого не существовало. Было что-то другое, что вбирало в себя все.

Лев Ильич застегнул пуговицы пальто.

— Господина майора Келлера, — сказал он по-немецки, — я оперировать не буду.

— Но почему?! — крикнул Ролоф.

В своем длинном пальто старый врач сел на белый больничный табурет и повторил:

— Господина Келлера я оперировать не буду. Оперировать его сами.

Откуда-то из-за эсэсовских спин появился Сазанский.

— Лев Ильич! — воскликнул он. — Почему вы отказываетесь? Вы такой прекрасный хирург, и вы сами

утверждали, что для вас нет ни красных, ни белых, ни русских или немцев, только больные и страждущие.

Катасонов не удостоил его ответом.

— Но, доктор,— пытался убеждать его Ролоф,— господин Сазанский прав. Там умирает человек, истекает кровью. Ведь есть врачебная этика, клятва Гиппократата!

Услышав про врачебную этику, старик прижал к уху слуховой аппарат.

— Поймите,— вторил Ролофу очкастый врач,— человек умирает. Не комендант, не майор, а просто человек. Неужели вы откажетесь?

Лев Ильич встал с табурета. На лице его было страдание.

— Да, — сказал он, — я нарушаю врачебную этику, поступаю неправильно...

— Наконец-то! — выкрикнул Ролоф.

А Лев Ильич закончил:

— ...но майора Келлера я оперировать не буду.

Ролоф выхватил пистолет.

— А ну, быстро, русская свинья! — крикнул он старику. — Если ты сейчас же не пойдешь в операционную, я пристрелю тебя, как взбесившуюся собаку!

— Делайте что хотите, — сказал Катасонов и спрятал в карман слуховой аппарат. Он направился к вешалке и снова стал надевать галоши.

— Взять! — скомандовал капитан Ролоф. — Завтра повесим его на стадионе. Будет шестьдесят третьим!

Трудно сказать, сумел бы доктор Катасонов спасти жизнь коменданта Келлера или нет. Три молодых армейских врача провозились с ним до поздней ночи. Комендант умер, ни на минуту не придя в сознание.

Виталька Сазанский не отпустил своих полицейских по домам. Они сидели в дежурке и ждали указаний. Под утро Александра Павловича осенило.

— Господин Сазанский... — начал он.

— Я вам не господин Сазанский, а господин начальник полиции, — поправил тот Козлова.

— Господин начальник полиции! — снова начал Козлов. — А ведь я знаю, почему доктор отказался оперировать Келлера.

— Ну?

— Потому что его любимая операционная сестра — мать одной из казненных. Это соседка моя — Наталья Сергеевна Семенова. Мы в одном дворе живем.

— Что ж ты, кретин, молчал?!

— Только что догадался.

Сазанский одернул на себе мундир и поднялся в комендатуру. Вскоре за Натальей Сергеевной ушла машина.

Семенов спал тяжелым сном. Когда его разбудили, в глазах был туман и мысли путались.

Он увидел фашистов в мокрых блестящих плащах, покорно одевающуюся мать и странную белесоватость за окнами. Что происходит, он не понимал.

Семенов окончательно проснулся и все понял лишь тогда, когда хлопнула наружная дверь, отъехала машина и на полу он увидел много мокрых следов, грязь и черные лужицы воды.

Он бросился к окну. Дождь переходил в снег.

«ЭХ, ЮШЕЧКА С СЕЛЬДЕРЮШЕЧКОЙ...»

Дни шли за днями, приближалась зима. Жить становилось все страшнее. Каждый день люди ждали, что будет объявлено о казни следующей группы заложников, но репродукторы пока молчали. Между тем в Берлине в главном управлении имперской безопасности СД было решено уничтожать заключенных концлагерей более скрытно, чтобы это не бросалось в глаза, что их будут уничтожать в уединенных местах, подальше от населенных пунктов.

Были и другие слухи. Говорили, например, что всех заложников гравийного карьера отправят в Германию для работы на подземных заводах.

Семенову об этом рассказывал дед Серафим. Они остались вдвоем в райтоповском дворе, потому что Александр Павлович Козлов с женой переехал в большую квартиру доктора Катасонова на Воскресенской (бывшей Советской) улице.

Дед Серафим предложил Семенову объединиться: вдвоем полегче. Тетя Даша успела запасти картошки, у Семеновых оставалась крупа. Поначалу готовкой занялся дед, но это дело, как и всякое другое, у него не

получалось. Стряпухой стал Семенов. Чаще всего они варили картошку, потому что если варить ее очищенной, то получается сразу и первое и второе. На первое — бульон с нежным, как иней, пушистым осадком, на второе — круглая картошка, которую можно есть с солью и репчатым луком. И первое, и второе хорошо приправить постным маслом, однако его в бутылке оставалось граммов триста, и Семенов на всякий случай спрятал ее для матери. Так они каждый день и обедали.

Семенов помнил, что когда-то давно мама заправляла такую воду из-под картошки укропом. Веселое это было время! Картошка варилась на примусе, а вокруг него мать устраивала хоровод. Семенов крепко держался за мамин подол, он приплясывал и подпевал за мамой: «Эх, юшечка с сельдерюшечкой, поцелуй меня, кума, кума-душечка!» Эля с ними не танцевала, стеснялась, наверно.

Дед Серафим часто прерывал его шемящие воспоминания разговорами о еде. Он фантазировал на тему — где чего можно было бы достать и как бы это было хорошо. Иногда дед предавался воспоминаниям.

— В нэповское время, — говорил он, — чем только у нас на станции не торговали, особенно к московскому поезду. Мясо жареное выносили во какими кусками! А куры! Корочка твердая, а под ней жир, словно пух — белый и мягкий. А неваляй пробовал? Снаружи курятина, а снутри — кусок масла сливочного. Каклета жареная, а масло в ей тугое, куском лежит, на языке только и плавится... Ты небось и солянку не ел никогда? По глазам вижу, что не ел. Делается солянка так. Что в ресторане остается на тарелках, все кидают в котел, потом добавляют туда перцу, лимонов, маслин и еще чево-то. Хоть и знаешь, что объедки, а вкусно! Колбасные кусочки попадаются, сосиски... Это около рынка в трактире. Мы при нэпе туда ходили с Дарьей...

Тут дед умолкал на полуслове. Когда он вспоминал о жене, лицо его кривилось и говорить он больше не мог.

Однажды дед пришел домой в сильном возбуждении.

— С бабами-почтальоншами про Дарью говорили. Сведения имеются, что из карьера всех в Германию угоняют. Сегодня, понял? На станции, говорят, состав стоит. Вагоны-теплушки под людей оборудованы, с решетками. Скот с решетками не возят... Сходим вечером, — предложил он, — запрячемся где, может, увидим: ты свою, а я свою.

Привокзальную площадь снег покрывал тонко, как простыня. Все, что было под снегом — крупный булыжник мостовой, пучки травы вдоль дорожного бордюра, перья замерзших цветов на клумбах возле ресторана, — угадывалось без ошибок. Снег лежал тонким слоем, чистый, но вовсе не голубой, как под Новый год, а какой-то бледный, потому, наверно, что сквозь него проступала стынущая земля.

И большая луна не заставила сверкать этот снег, похожий на влажную простыню. Люди топтались по этому снегу, и он не скрипел у них под ногами.

Впрочем, если бы он сверкал и скрипел, люди на привокзальной площади не замечали бы этого. Здесь без всякого уговора между собой собрались родственники заложников гравийного карьера, в большинстве женщины. Они принесли с собой узлы теплых вещей и еду в надежде передать это своим, тем, кого угоняют на чужбину.

Люди на привокзальной площади разбивались на группки, они стояли в подворотнях домов, и у палисадников с голыми прутьями кустов, и в скверике под черными ветвями лип. Дед Серафим ходил от группки к группке, со всеми заговаривал, подбадривал, подмигивал, суетился. Передачу для Натальи Сергеевны и тети Даши они соорудили общую, в одном узле, который дед Серафим время от времени оглядывал и перекладывал из руки в руку.

Семенов не участвовал в разговорах взрослых, он ходил вслед за дедом или стоял чуть в стороне.

По слухам, заложников должны были провести в шесть часов вечера, однако шел уже десятый, близился комендантский час, а этап все не появлялся. Каждый знал, что после комендантского часа пребывание на улице без специального пропуска карается смертью, но никто не хотел уходить отсюда. Пока не прогонят, постоим, думали несчастные, а прогонят с улицы, во

дворах спрячемся. Неужто не проводим близких своих, неужто не простимся?

Большие сомнения в толпе посеяла высокая худая женщина интеллигентного вида. Она сказала:

— В прошлый раз, в сентябре, этап военнопленных вели через товарную станцию. Их вечером загнали в разрушенное депо, а утром погрузили в теплушки. Может, и наших через товарную поведут?

— Это верно, — подтвердил кто-то. — Тогда все. Тогда зря мы стоим.

Люди все обсуждали это, когда на привокзальной площади появилась бывшая райисполкомовская «эмка». Наполнив воздух отвратительным сладковатым запахом эрзац-бензина, она подъехала к бывшему железнодорожному ресторану, где теперь помещалось кабре для господ офицеров германской армии. Над подъездом ресторана желто светила единственная на всю площадь лампочка, но большая луна, хотя и собиралась зайти за тучу, ярко освещала все вокруг.

Высокий, крепкий человек в длинном кожаном пальто с повязкой полицая на рукаве выскочил из правой передней дверцы и ловко распахнул заднюю.

На широкие гранитные ступени шагнул крохотный человек в фуражке с высокой тульей, в сапожках тридцать третьего размера и с плетью в руке.

В подворотне, где стояли дед и Семенов, кто-то сказал:

— «Спорт и фото».

Так продолжали называть Витальку Сазанского, когда он стал бургомистром, так теперь называли его на должности начальника полиции, так порой называли и саму полицию.

«Спорт и фото» вошел в широкую с медными ручками дверь кабре, а сопровождавший его человек в кожаном пальто стал прохаживаться возле машины.

— Никак, Александр Павлович, — сказал дед, приложив руку козырьком, будто свет луны слепил его. — Точно. Он.

Александр Павлович ходил важно, лениво, и длинное кожаное пальто на нём то благородно-тускло блестяло платиновым светом луны, то желтело золотым светом кабре.

— Была не была, — сказал дед и пошел через площадь.

Его хотели остеречь, кто-то крикнул, чтобы он вернулся, но дед бросил через плечо:

— Это сосед мой, понятно? Сколько лет вместе жили.

Никто не слышал, о чем дед говорил с Козловым, но все видели: человек в длинном кожаном пальто довольно долго и терпеливо толкует старику что-то и пока вроде бы не сердится. Издали дед Серафим походил на ежа, вставшего на задние лапы. Разговор кончился неожиданно: старик, похожий на ежа, протянул полицая руку и тот в ответ протянул ему свою, не погнушался.

Обратный путь дед Серафим совершил под нетерпеливыми взглядами людей, удивлявшихся всему великому и завидовавших такой смелости.

— Айда, — сказал дед Семенову. — Не будет этапа. Он говорит, что им из этой ямы пока никуда не выйти. Александр Палыч врать не будет. Чего ему мне-то врать: я для него не фигура. Эй, бабы! — крикнул дед Серафим на всю площадь. — Айдайте отсюда, не будет этапа! Мне заместитель «Спорт и фото» знакомый, он точно сказал.

Дед решительно зашагал домой, и Семенов двинулся следом.

— Козлов врать не будет, — уверенно рассуждал дед. — Он говорит: «Не топчись, дед, без толку. Есть у тебя шанс старуху повидать: кого после комендантского часа на площади словят, того в карьер. Вот там и свидитесь». Не врет, значит. — Дед шел быстро и говорил громко: — «Заметём, говорит, всех, кто по-за углам прячется, — и в яму, в карьер». Что ни говори, а он нам сосед сколько лет. Зря дура моя с ними цапалась. Кабы знать, дружить надо было — помыть полы, постирать бесплатно, не убыло бы от нас. Он ведь задолго до войны с Гитлером связался, может, специально даже подослан был и работал себе тихонько по снабжению. Такие люди всегда по снабжению. Помнишь, как он радио слушал немецкое? Не зря это.

Семенов мог возразить, что Козлов тогда не выбро-

сил бы приемник с приходом оккупантов, но мысли его были заняты другим.

— Глупые мы, Семенов,— говорил дед.— А думаем, что умней всех. Козловы вон когда все знали, а хитрили, под русских маскировались, книжки красные читали, сам в гимнастерке под ремнем ходил... Я ему сейчас спасибо сказал и руку его поганую пожал, да поздно уж.

— Я вернусь, дед. Как хочешь, а я вернусь,— сказал Семенов, когда они подходили к дому.— Меня не поймают, я мелкий.

Он не дал деду времени для ответа и побежал назад.

На этот раз он решил проникнуть на станцию кружным путем. Он снова обогнул вокзал, юркнул под сторовенные летом товарные вагоны и по-пластунски прополз метров триста.

Все шло хорошо, его никто не заметил, хотя на станции было довольнолюдно, у выходных стрелок маячили автомашины, маневровый паровозик без видимого смысла толкал куда-то теплушки, по перрону ходили какие-то люди.

Семенов испугался, когда вдруг увидел, что находится очень близко от водокачки. Он замер, внимательно вглядываясь в два темных окна. На водокачке никого не было. Немцы сами разрушили ее во время одного из первых налетов на станцию Колыч, а теперь сами и восстанавливали. Семенов заметил новую, еще не крашенную дверь, подполз ближе, встал и взялся за блестящую ручку. Дверь сильно заскрипела, и Семенов юркнул внутрь.

Привыкнув к темноте, он увидел сварочный аппарат, обрезки металлических труб, свежеструганные доски и много стружек на полу. По новенькой светлой лестнице он поднялся на один марш и выглянул в окно. Станция была как на ладони.

Ему повезло. Немцы со дня на день собирались пустить водокачку, и тогда на ней наверняка стоял бы пост охраны. Пока же для заправки паровозов водой фашисты использовали пожарную машину с помпой. Машина эта так и стояла на перроне.

«Передача-то вся у деда осталась,— вспомнил мальчик.— И продукты и вещи».

Не было надежды, что он сможет еще раз так же удачно пройти через весь город в оба конца. А если за это время и уйдет этап?

Возле окна плотники сбили из двух досок узенький верстачок. Семенов прилег на нем, положил шапку под голову, смотрел в ночь и ждал, когда появится колонна заложников. У него не было часов, он не знал, сколько времени прошло после десяти вечера, но жизнь на станции постепенно замирала. С грохотом прошел в сторону фронта длинный товарняк, и снова все утихло. Похоже, что Козлов не обманул деда.

Проснулся Семенов от криков на немецком языке и от лая собак. Он сразу сообразил, где находится, вспомнил все и увидел, что из ворот разрушенного депо в шеренгу по пять человек выходят люди.

Нет, Александр Павлович Козлов и в самом деле не обманул. Это были не заложники, а пленные, новая группа пленных, которых доставляли по узкоколейке со старых заброшенных торфоразработок. В городе знали, что там находится большой лагерь военно-пленных.

Было раннее утро, вернее, раннее зимнее утро с серым холодным светом, который, падая с холодного темного неба, отражался в грязном снегу и становился еще более серым и холодным.

Состав теплушек стоял близко от водокачки, пленных вели сюда, и Семенов видел их жесткие, грязные шинели, землистые лица и ноги, обмотанные ватным тряпьем. Конвоиры торопили пленных, собаки лаяли, паровоз пыхтел.

Конвоиры считали пленных по шеренгам, в каждой шеренге по пять человек. Десять пятерок отделяли от общей колонны и ставили перед теплушкой с широко распахнутой дверью. Всего таких теплушек Семенов насчитал двадцать три.

В ожидании погрузки пленным почему-то не разрешили стоять или сесть на землю — их поставили на колени, но так, чтобы ни в коем случае не нарушали стройности рядов. Часть конвоиров с собаками на поводках нырнули под вагоны и создали заслон позади состава, другие конвоиры с молоденьким офицером во главе проверяли прочность вагонов. Тяжелыми деревянными молотками на длинных рукоятках они

обстукивали стены и полы теплушек, боялись — не подпилены ли доски. Наконец проверка вагонов кончилась, молоденький офицерик доложил об этом пожилому, и тот по-русски дал команду:

— Встать!

И тут оказалось, что подняться с колен после такого долгого стояния совсем не просто. Люди вначале становились на четвереньки, а распрямившись, стояли нетвердо, растирали колени руками. Особенно долго копошился один несчастный в последней шеренге у второй теплушки. Вид его был очень нелеп: полы шинели обрезаны много выше колен, на голове — грязная пилотка, вывернутая на уши. Товарищи помогли ему встать с земли, но он тут же повалился опять. Конвоир, стоявший возле водокачки, громко засмеялся; человек в вывернутой пилотке оглянулся на фашиста, и Семенов сразу узнал это птичье, почти черное лицо. Он узнал это лицо той острой детской памятью, которая всегда так удивляла и даже пугала его мать.

У Семенова сжалось сердце. Не за этим он шел сюда, не этого ждал и хотел.

— Шнель! Шнель! — торопили конвоиры пленных. Погрузка началась.

Вячеслав Борисович Баклашкин в толпе других пленных пытался взобраться на высокий пол товарного вагона. Люди подсаживали друг друга; те, что взобрались, протягивали руки, чтобы помочь остальным.

— Шнель! Шнель! — торопили конвоиры и делали вид, что вот-вот спустят своих свирепо лающих овчарок.

— Папа! — сквозь стекло крикнул Семенов и, поняв, что отец не услышит его, толкнул раму окна и еще раз крикнул в промозглый утренний шум: — Па-па!

Кто-то из пленных обернулся на крик, но отец не слышал его. Он пытался влезть в теплушку, но едва мог оторвать от земли слабые ноги.

— Папа! — еще раз изо всех сил крикнул Семенов.

Теперь многие слышали этот крик, многие стали смотреть по сторонам, но только Баклашкин не слы-

шал сына. Не ждал он, что кто-нибудь назовет его так.

Сердце Семенова разрывалось от жалости к отцу — не только к этому, несчастному, слабому и беспомощному, но и к тому далекому, который стыдился сына и убегал от него по праздничной, майской улице в белых парусиновых полуботинках.

— Баклаш-кин! — не уставал звать отца Семенов. — Баклаш-кин!

Отец забрался в вагон и тревожно закрутил головой, не понимая, кто может звать его здесь таким голосом.

Семенов по пояс высунулся из окна.

— Я здесь, папа!

Теперь Баклашкин увидел его.

— Сын! — крикнул он. — Сыночек!

Однако Семенов не слышал этих слов, а лишь угадал их не по губам даже, а по выражению лица. Шумно шла эта погрузка: свирепо лаяли овчарки, орали конвоиры, с грохотом начали задвигать двери дальних теплушек. Если бы у мальчика была с собой краюшка хлеба или вареная картофелина, он побежал бы к вагону, чтобы все отдать отцу, но у него не было ничего, и он крикнул еще:

— Мы победим, папа! Побе-дим!

Он понимал, что видит отца в последний раз, и все простил ему.

Прогрохотала в железных пазах дверь последней теплушки, разнеслась вдоль вагонов последняя длинная команда на немецком языке, без гудка рванул паровоз, и через минуту или две стало тихо и пусто. Конвоиры сняли общее оцепление, ушел патруль, стоявший ночью у выходных стрелок станции Колыч.

В последующие недели горожане часто говорили о ночных этапах военнопленных и еще о том, что всех больных и слабых в лесном лагере на бывших торфозаготовках фашисты расстреливают.

Годом позже, когда сын забыл свое настоящее имя и фамилию, его отец, Вячеслав Баклашкин, умирая от цинги в концлагере Захсенхаузен, вспоминал промозглое утро на станции Колыч, серый снег на путях,

евирепый лай собак и сквозь все это незнакомый детский голос: «Папа!»

Ему казалось, что на самом деле этого не было, что он это придумал сам себе в утешение.

В НОЧЬ НА СЕДЬМОЕ

Над гравийным карьером дул ветер. Он нес тяжелый снег, и полицаи из охраны радовались, что на ночь их заменили пулеметчиками из регулярной фашистской части. Пулеметчики завидовали полицаям, которые могут до утра уйти в барак. Они завидовали даже и тем, кто там внизу. Внизу люди голыми руками выскребали себе ниши, где можно укрыться от непогоды, наверху же была только колючая проволока и ветер.

Дул ветер, летел мокрый снег. Казалось, будто огромная яма с людьми на дне одна на всем свете, и нет в мире ничего, кроме нее да редкой березовой рощи, да еще стадиона «Буревестник» с длинной виселицей, которая теперь пуста и ждет новых жертв.

Беленный известкой конторский барак поодаль от карьера виделся в снежной мгле как призрак. Его грязно-белые стены и толевая крыша расплывались в метели. Окна в бараке были плотно занавешены.

Возможно, что никто из полицаев не вспомнил бы, что завтра 7 ноября. Но неожиданно прикатил Сазанский с Козловым. Машину свою начальник полиции отослал обратно, сказав, что заночует здесь.

— Эта ночь особая, — сказал Сазанский полицаям. — В эту ночь я призываю вас всех к особой бдительности, ибо возможны провокационные вылазки советских диверсантов, партизан и отдельных фанатиков. Долг мой быть с вами, друзья, на самом опасном участке. На этот счет я располагаю важными агентурными данными.

Мягко говоря, начальник полиции искажал факты. Агентурные данные носили противоположный характер. Комендант Ролоф, например, больше боялся за внутригородские объекты, за охрану железнодорожной станции, мостов, казарм, самой комендатуры, гестапо, телеграфно-телефонного узла и т. д. Сводки сообщали, что партизаны именно так и делают, что

этого в советский праздник следует опасаться больше всего. Сводки информировали и о том, что партизаны во время налетов на населенные пункты казнят предателей прямо у них же дома, в их теплых постелях. Вот почему Сазанский не хотел проводить эту ночь ни в собственной квартире, ни в комендатуре. Он про себя называл это предчувствием, но никому про него не говорил.

В бараке ему казалось надежнее в эту ночь: над карьером несколько пулеметных гнезд и, если партизаны захотят освободить заложников, то прежде напорются на них. Во всяком случае, сегодня предчувствие толкало Сазанского именно сюда, где прежде он бывал не часто и где теперь всю ночь мог быть не один. Он принял решение, когда в дополнение ко всем слухам и сводкам собственными глазами увидел на пыльной витрине закрытого теперь магазинчика «Спорт и фото» коротенькую листовку, написанную под копирку. Неприятно было, что подпись под ней стояла прежняя: «Погребальная контора «Милости просим», а текст содержал призыв и намек: «Смерть немецким оккупантам и предателям! Да здравствует 7 Ноября!»

Указание на конкретный день, 7 Ноября, показалось Сазанскому даже не просто намеком, а конкретной угрозой. И не следует забывать, где партизаны приклеили свою листовку. Сазанский ни в коей мере не был фаталистом, он считал, что береженого бог бережет.

Конечно, барак не крепость, но ничего лучшего начальник полиции не смог придумать. Еще Сазанский знал, что не следует говорить полицейам, что он считает их барак более безопасным местом. Он знал, что этих здоровенных мужиков, каждый из которых мог прибить Витальку к земле ударом открытой ладони, надо держать в вечном страхе. Страх был главным их чувством и главной движущей силой. Из восьми полицейев, бывших здесь, семь начали свой путь к фашистам с обычного дезертирства. Струсив однажды, они прятались от своих, а оказавшись на оккупированной территории, из страха перед немцами пошли на страшную службу в полицию. Ведь и своего теперешнего заместителя — А. П. Козлова — Виталька

запугал. Если бы не страх перед Виталькой из «Спорт и фото», пошел бы Александр Павлович опять по линии заготовки дров и не было бы в городе такого исполнительного и представительного полицая, не было бы у начальника полиции такого верного холуя. Из восьми полицаяев в том бараке Юрка Гордеев пошел в услужение к фашистам по влечению сердца. В этом могучий, ясноглазый бандит был сродни своему тщедушному начальнику. Ему нравились фашистские порядки потому, что он легко мог себе представить, как нужны его безжалостные кулаки новому начальству. Он хотел найти одного-единственного хозяина и нашел его в коменданте Келлере, и потом в коменданте Ролофе. Юрка досадовал только на то, что между ним и комендантом стоит Сазанский. Он надеялся, однако, что это временно.

Свое пребывание в бараке в ночь на 7 Ноября начальник полиции начал с речи о бдительности, потом проверил личное оружие полицаяев и сделал выговор Гордееву за то, что автомат у него давно не чищен. Умело сочетая политику кнута и пряника, Сазанский сообщил, что в зимний период полицаям выдадут теплую форму и увеличат продовольственный паек. Потом он взял у Козлова из рук кожаный докторский саквояж и торжественно достал оттуда две бутылки французского виноградного вина.

— Сейчас мы разопьем это все вместе, — потирая крохотные ручки, сказал он. — За верную, так сказать, службу, за вечную, друзья мои, дружбу!

Сазанский не увидел радости в лицах своих подчиненных. Сам он был человеком непьющим и не понимал, сколь оскорбительно предлагать по сто граммов кисленького французского вина каждому из этих дюжих, промерзших и к тому же трясущихся от страха мужиков.

Однако вино было разлито по алюминиевым кружкам, и Сазанский, стоя, повторил свой простой и, как он полагал, очень прочувствованный тост:

— Поднимем бокалы, друзья мои! За нашу трудную службу, за верную дружбу и за нашего фюрера Адольфа Гитлера, ура!

Полицаяи сказали «ура» и брезгливо выплеснули иностранную кислятину в свои большие прокуренные

рты. В это время за спиной у Сазанского с грохотом упала доска. Он выхватил пистолет, но не успел выстрелить. Из-за щелястой, сделанной из горбылей перегородки появился приземистый человек с отечным лицом и слезящимися глазами. На голове у него был вылинявший буденовский шлем с опущенными отворотами.

— Это наш дневальный,— поспешил объяснить Сазанскому кто-то из полицаев.

— Мобилизовали, чтоб шестерил,— добавил Юрка Гордеев.— Глухой он.

Сазанский и сам узнал глухого. Этот больной одинокий человек и до войны был сторожем и истопником в конторе. Зимой и летом он ходил в буденовском шлеме, застегнутом под подбородком.

Испуг, вызванный появлением дневального, испортил впечатление от первого тоста. Сазанский сделал знак, и Александр Павлович достал из докторского саквояжа еще одну бутылку.

— Господин начальник,— сказал Гордеев, видя, что Сазанский и сам колеблется, разливать ли вино по кружкам,— у нас на это вино и закуски нет. Разрешите, я в город слетаю.

— За закуской?— спросил Сазанский.

Кто-то из полицаев не удержал злого смешка, но Гордеев невозмутимо подтвердил:

— За закуской и за прочим!— Глаза его лучились радостным желанием всем сделать приятное.

— Самогону принеси,— вдруг понял свой тяжкий промах Сазанский.— Самогону, истинно русского черного хлеба, огуречиков соленых, грибочков...

— И чего-нибудь мясного,— не удержался Козлов.— Сала, например.

Как все люди, Семенов любил праздники. Но он издавна любил, чтобы в праздники была плохая погода, чтобы было холодно, чтобы дождь был или снег. Тогда никуда им не нужно было идти и никто не приходил в гости. Обычно они сидели втроем — мать, Эльвира и он,— чаще всего на кухне у плиты. Грелись, ели что-нибудь вкусное, пили чай с вареньем. Кухня у них была просторная, светлая, и с бабушкиных времен

на двух подоконниках стояли цветы: герань, столетник и ванька-мокрый. Горшочки были обливные, а на них — бумажные кружева.

Сегодня, в канун двадцать четвертой годовщины Октября, за окном была непогода, холод и снег. Топилась плита, но не было возле нее матери и Эльвиры, Семенов сидел вдвоем с дедом Серафимом.

— Кормют их, кормют! — утешал Семенова дед. — Люди же знают. Жмых им дают. Лошадь дохлую недавно сволокли. Если б не кормили, они бы давно померли. Человек без пищи сдохнет — чай, не верблюд. — Дед успокаивал Семенова как мог. — А ты и не знаешь, тама ли она. Может, она не в карьере. Говорят ведь, что ее в гестапе держат, в подвале, в комендатуре ихней. Тама, говорят, важные люди сидят, не моей дурехе чета. Им каждый день суп дают. С вермишелью. И твоя тама не пропадет заодно. Им, говорят, хлеб дают пеклеванный.

Дед совсем плохо переносил голод и потому все время говорил о еде. Едва коснувшись этой темы, он мог развивать ее бесконечно. Дед худел, сморщивался и старел. Глаза у него были, как у больного ребенка, беспомощные и жалобные. Семенов старался не смотреть на деда, чтобы самому не раскиснуть. Теперь, живя с ним вместе, он понял, почему тетя Даша терпела лентяйство своего мужа и его болтовню, почему была и строга с ним, и баловала его. Он был ей вместо ребенка.

Дед подремывал, сидя у остывающей плиты. Временами он начинал сопеть и посвистывал носом, потом на минуту просыпался, говорил две-три фразы и скоро вновь засыпал. Так бывало каждый вечер, так было и сегодня, в канун годовщины Октября.

Когда дед в очередной раз проснулся, Семенов взял его под руку и отвел в комнату. Спал дед на Эльвириной кушетке.

Семенов взял с этажерки книгу «Принц и нищий», погасил свет и вернулся на кухню. Семенов еще не читал «Принца и нищего», но слышал от других, что это очень интересная книжка. Он открыл ее на первой странице и прочел слова, написанные наискось под заглавием густыми фиолетовыми чернилами: «Т. Семенову, которому я абсолютно доверяю! Л. С. Щербаков».

Семенов понимал, что Леонид Сергеевич не кривил душой, когда писал это. Они ведь и в том разговоре поняли друг друга. И речь к тому же шла о личном доверии бывшего чапаевца к ученику пятого класса, а не о том, имеет ли право командир партизанского отряда разглашать тайны военного значения. И вспомнилось Семенову, что говорил ему Щербаков о любви детей к своим родителям, о том, как это важно и что представить страшно будущее страны, где дети перестали бы любить родителей. Леонид Сергеевич говорил, что такая страна погибнет, да и кому нужна такая страна.

Книга, подаренная Леонидом Сергеевичем, судя по всему, была интересная. Семенов принялся читать про то, как в один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в семье Тюдоров родился другой мальчик, который стал наследником престола. Одного мальчика звали Том, другого — Эдуард.

Семенов отложил книгу и задумался. Посидев немало с книгой на коленях, он встал, растопил плиту, взял с полки большую зеленую эмалированную кастрюлю, накидал в нее самой лучшей, отборной картошки, залил водой и поставил на огонь.

«Пусть будет в мундире. Тоже неплохо. В такой день можно, — думал он почти вслух. — Если уж не сегодня...»

Он нашел спрятанную от деда початую бутылку мутного постного масла, сунул ее в один карман брюк. В другой карман положил несколько мелких луковок. Потом он завернул в газетку соли и тоже положил в карман.

Картошка сварилась. Семенов слил воду, завернул кастрюлю в старый, оставшийся от бабушки клетчатый шерстяной платок и завязал его углы наверху, чтобы удобно было нести.

Семенов оделся тепло, хорошо застегнулся на все пуговицы своего бобрикового пальто, из которого сильно вырос, погасил свет в кухне и вышел во двор.

Темень, ветер и мокрый снег обрадовали его. Он спустился с крыльца, но, вспомнив, что ночью дед проснется и встревожится, вернулся домой, зажег на кухне свет и написал деду записку.

Семенов шел быстро. Настроение у него было отличное, потому что он решился и решение это казалось правильным. Никто и не заподозрит, что в такую ночь кто-то решится проникнуть в карьер. А он проберется, проползет со стороны стадиона и спрыгнет, даже не спрыгнет, а скатится со склона. Не все же стены там отвесные. Он представлял себе, как они втроем — мама, тетя Даша и он — будут сидеть кружочком и есть картошку, макая ее в постное масло с мелко крошеным луком. «Нож забыл, — подумал Семенов, но успокоил себя: — У них есть, наверное».

Иногда по улицам проезжали фашистские патрульные машины, Семенов нырял тогда в подворотни, прятался за палисадники. Никто не замечал его, потому что снег шел все сильнее, хлопья были крупные и свет автомобильных фар, отражаясь от них, слепил тех, кто сидел в машине.

«Картошка еще не остынет, — думал Семенов. — Она долго тепло держит. И платок бабушкин теплый». Ему тоже было тепло, он расстегнул верхнюю пуговицу своего пальто, больше похожего теперь на куртку, и зашагал еще быстрее. Дальше был стадион, и миновать его Семенову хотелось стороной. Однако крюк тоже делать не стоило — потеря времени. Да и снег стал идти потише.

Семенов старался не смотреть на виселицу и всего один раз невольно оглянулся туда. На поле чуть брезжил свет, и Семенову почудилась человеческая тень под виселицей. Будто сидит человек неподвижно, голова запрокинута вверх, к перекладине, будто он внимательно на нее смотрит.

Перед гравийным карьером был кочковатый пустырь, поросший высокими, матерыми сорняками. Семенов пригибался все ниже к земле, а в конце концов пополз, толкая впереди себя кастрюлю с картошкой. Ползти было трудно, он спешил, сердце колотилось, в ушах звенело. Вдруг Семенов почувствовал кого-то совсем рядом с собой и обернулся.

В двух шагах позади него стоял коренастый человек с повязкой полиция на левом рукаве.

...В бараке маялись. Обещание выпивки настроило полицейских на определенный лад, а Гордеева все не было.

Пробовали рассказывать анекдоты — ничего смешного, новенького на ум не приходило. Сели играть в домино — игра не клеилась, не было никакого азарта. Думалось больше про то, что Сазанский с Козловым не зря прикатили и неизвестно, чем кончится эта проклятая мокрая ночь.

Сазанский лежал на канцелярском столе, под головой у него была чья-то шинель, в руках какая-то брошюрка в серой обложке. Возле каждого полица я лежала такая же брошюрка о новом порядке, который Гитлер хотел установить в мире, но читал один Сазанский. Впрочем, может быть, и он не читал, а только делал вид.

— Может, споем? — косясь на Сазанского, предложил полицаям Козлов.

— А про кого?

— Это уж вы сами решайте, — сказал Козлов. — Можно «Степь да степь», можно «Калинку», можно «Ты ж мэнэ пидманула...»

— Тверезые только артисты поют да еще пионеры, — сердито сказал кто-то. — Нашел тоже хор Пятницкого...

Очень уж им хотелось напиться в эту ночь, напиться и ни о чем не думать.

Все обрадовались, когда хлопнула дверь тамбура, а потом растворилась и обитая дерматином дверь барака.

Однако первым вошел не Гордеев, а мальчуган в бобриковом пальтишке. В одной руке мальчик нес мокрый клетчатый узел, в другой — новенький голубенький патефон.

Сазанский удивленно сел на столе, но брошюру из рук не выпустил.

— Разрешите доложить, господин начальник полиции. На подступах к карьере был обнаружен и выслежен мной большевистский лазутчик. Схвачен на месте преступления. — Гордеев самую капельку кривлялся, докладывая по всей форме, но ему и в самом деле хотелось быть отмеченным. Кроме того, он слегка выпил.

Его-то и видел Семенов сквозь снежную пелену на пустом стадионе. Там Гордеев сделал небольшую остановку, съел здоровенный кусок колбасы и сильно от-

пил из бутылки с самогоном. Гордеев знал, что если все будут есть и пить поровну, то ему может не хватить. У него аппетит был лучше, и пьянел он не так скоро.

— За бдительность мне бы стаканчик с холоду, — добавил Юрка, увидев, как много в бараке народу.

— Посмотрим, — сухо сказал Сазанский, ему не нравился развязный тон Гордеева. — Что это у него в руках?

— Патефон! — сказал Гордеев. — Это я заставил его нести. Прихватил, понимаете, патефон на случай веселья. В одной руке у меня сумка хозяйственная, в другой патефон — обе заняты. А когда я поймал его, то пришлось себе одну руку для оружия освободить. Вдруг бежать. вздумает!

— Обыщите арестованного, господин Козлов, — приказал Сазанский.

Александр Павлович сразу узнал Семенова, понял, что тот пытался пробраться к карьеру, чтобы передать матери поесть. И гитлеровские солдаты и полицаи часто ловили возле карьера родственников заложников. Люди пытались узнать что-либо о своих, увидеть, передать передачу. Некоторых прогоняли, других арестовывали, третьих просто расстреливали на месте.

«Дурак, — подумал про Семенова Александр Павлович. — Матери его здесь и нет, а он прется. До чего глупы люди!»

Козлов сразу узнал Семенова, но на всякий случай сделал вид, что случилось это только тогда, когда он подошел совсем близко к мальчику и снял с него ушанку.

— Ба! Кого вижу?! Неужто сосед мой? Здравствуй, Семенов! Ну и настырный ты, однако! Прямо как по пословице — яблоко от яблони недалеко падает.

Полицаев Семенов интересовал мало. Они внимательно следили за тем, как Юрка Гордеев достает из здоровенной хозяйственной сумки две бутылки самогона, кусок сала размером с лопату, литровую стеклянную банку соленых огурцов, половину большого круга копченой колбасы и молочного поросенка с огнестрельной дыркой в голове.

Козлов развязал хорошо ему знакомый платок Семеновых и поднял крышку.

— Картошка в мундирах, — сказал он.

— Небось остыла, — огорчился кто-то.

— Вроде теплая, — ответил Козлов.

— Подогреть можно, — сказал кто-то еще.

Из одного кармана у Семенова Александр Павлович извлек бутылку постного масла, из другого — луковки.

Масло никого не заинтересовало, его поставили на подоконник, зато лук вызвал общее оживление.

— Лук — это хорошо! Сало, лучок, огурчики — лучшая закуска.

Козлов похлопал Семенова по карманам, еще раз внимательно оглядел и доложил своему начальнику:

— Ничего опасного у арестованного не обнаружено. Я его лично хорошо знаю. Он из опасной семьи. Сестра его Эльвира повешена как заложница, а мать у доктора Катасонова работала. Та самая.

— Понятно, — сказал Сазанский. — Я так и понял все, когда услышал, что это ваш бывший сосед.

Козлов отвел Семенова за перегородку. Окон там не было, а выход только один — в самый барак. Сквозь широкие щели между горбылями в кладовку проникал свет, и Семенов увидел на нарах какого-то недвижимого человека в буденовке.

Семенов сел у него в ногах и стал смотреть в щель между горбылями. У полицаев царило оживление, один резал колбасу, другой — хлеб, третий раскладывал перед каждой кружкой по три картофелины из зеленой кастрюли Семеновых. Гордеев сидел спиной ко всем над круглым цинковым тазиком и разделял поросенка.

Александр Павлович очистил одну картофелину и протянул ее Сазанскому. Тот брезгливо оттолкнул руку Козлова и спросил:

— А соль у вас есть?

— Гордеев, — спросил Александр Павлович в свою очередь, — соль принес?

— Забыл! — бодро ответил тот. — Хрен ее знает, как забыл. Сало зато соленое есть и огурчики.

Семенов вспомнил, что соль, отсыпанная в газетный кулечек, до сих пор у него в кармане. Козлов почему-то не обратил на это внимания. «Хорошо хоть,

что у них соли нет, — подумал Семенов. — Пусть без соли картошку едят».

Однако полицаи сильно не печалились. Они уже выпили по одной, по первой, «по маленькой», весело переговариваясь, острили.

Юрка Гордеев вдруг поднял голову от тазика и крикнул во всю глотку:

— Глухой!

Человек, дотоле неподвижно лежащий на нарах, слегка шевельнулся.

— Глухой! — опять крикнул Гордеев.

Человек в буденовке приподнял голову и подобрал под себя ноги в подшитых валенках.

— Глухой! — Голос Гордеева звучал все более требовательно.

Человек в буденовке встал с нар и двинулся на зов.

«Наверное, это его кличка, — понял Семенов. — Может, он тоже арестованный?» Семенов опять прильнул к щели.

— Глухой! — еще раз позвал Гордеев.

Полицаи смотрели на своего дневального с интересом и чего-то ждали. Тот подошел ближе и тихо спросил:

— Чего надо?

— Не слышу, — сказал Гордеев и показал на свои уши.

— Зачем звал? — громче повторил дневальный.

— А я не звал, — засмеялся ему в лицо Гордеев. — Я петь собрался. — И он заорал во всю глотку:

Глухо-ой не-ве-до-о-мой тайгою,
Сиби-и-ирской дальней стороно-ой
Бежал бродя-а-ага с Сахали-ина...

Полицаи хохотали от всей души.

Глухой медленно повернулся и, шаркая валенками по грязному полу, побрел обратно в кладовку. Он сел рядом с Семеновым и грустно сказал:

— Это они давно придумали. Не сейчас. Я ведь знаю наперед, как будет; а делаю вид, что не знаю. Они меня бьют, если я не играю с ними.

— Глухо-ой! — будто в подтверждение этих слов, крикнул теперь Александр Павлович. — Глухо-ой!

Каждому полицаяу хотелось сыграть в эту игру.

Они пили, слушали патефон, сами пели, но время от времени кто-нибудь вдруг истошно орал:

— Глухо-ой!

И человек со слезящимися глазами, медленно шаркая валенками, шел к своим мучителям.

Патефон был хороший, новенький, пластинки тоже. Без шипенья неслись песни, которые Семенов слышал совсем недавно, но это недавно было теперь за пропастью, которую никому уже не переступить.

Ну-ка, чайка,
Отвечай-ка:
Друг ты или нет.
Ты поди-ка,
Отнеси-ка
Милому привет...

Это перед самой войной был фильм про моряков и про любовь.

Семенов старался не думать про снежную, мокрую ночь и карьер, на дне которого были мама и тетя Даша. Он думал о том, что люди, которых он видел теперь перед собой, еще недавно ничем не отличались от других людей, ходили по тем же улицам, ели тот же хлеб, пели те же песни, что и все остальные, и все же, наверное, чем-то очень отличались от остальных. Конечно, отличались, как же может быть иначе? Семенов вспомнил, что дед Серафим говорил ему об Александре Павловиче, когда они возвращались со станции. Дед, конечно, ошибался: никогда прежде Козлов не был связан с фашистами, не был он их шпионом. и не собирался им быть. И ничего он не знал наперед. Ничего не знал, дурак подлый, ему и знать ничего не надо — он всегда ко всему приспособится и присосется.

На подоконнике, недалеко от двери кладовки, лежало несколько немецких автоматов. Как хорошо, если бы один из них оказался здесь, в кладовке! Тогда все было бы просто: осторожно раздвинуть доски, вставить дуло вот в эту щель, прицелиться чуть выше стола, за которым сейчас пьют и жрут полицаи, нажать гашетку и повести дулом слева направо, а когда поведешь справа налево, то взять уже чуть ниже стола.

Семенов не сомневался, что рука у него не дрогнет, однако автоматы лежали далеко от двери. Схватить

один из них и юркнуть обратно в кладовку было невозможно. Да и дверь скрипела ужасно.

«Это невозможно,— думал Семенов.— Это невозможно! Но если бы каждый советский человек, выбрав удобный момент, мог ценой собственной жизни уничтожить десять предателей, то война кончилась бы очень скоро». Его мысли вновь завертелись вокруг тех оптимистических подсчетов, которые он впервые сделал на площади перед клубом, когда увидел новую афишу Леонарда Физикуса, на которой дрессировщик был во фраке и вместо хризантемы в петлице красовалась свастика.

Пластинок было всего две: одна — про чайку и про сердце девичье, другая — про Андрюшу и про Сашу, но заводили их почти непрерывно. Полицай все пьянели и все грустнели, поэтому Семенов удивился, когда Сазанский вдруг заорал:

— Глухой!

«Неужто они опять свою игру затеяли?» — с ненавистью подумал Семенов.

— Глухой!

— Господи, — прошептал глухой, спуская ноги на пол, — как им не надоест!

— Глухой! — опять крикнул Сазанский.

Тот не торопился. Тогда Сазанский схватил пустую бутылку из-под заграничного вина и бросил ее в перегородку.

— Глухой! — еще раз крикнул он. — Я тебе песенку не буду, я тебе пулю всажу! Печка стынет, дрова волоки.

Глухой стал набирать на руку поленья, но они выскальзывали и падали на пол.

— Я помогу, — вскочил Семенов, — вы сидите, я быстро.

Он набрал поленьев и понес их к печке. Он прошел в полуметре от подоконника, где лежали автоматы, но старался не смотреть на них, чтобы не выдать себя взглядом.

— Правильно начинаешь жизнь! — одобрил Семенова начальник полиции. — Молодежь должна быть умнее, чем старики. За послушной молодежью есть будущее.

Никто не слушал Сазанского, потому что самогон

упорно возвращал полицаев к собственным тревогам и надеждам.

Семенов присел к печке, открыл дверцу.

— Там все прогорело, — сказал он. — Разжечь?

— Разожги, — милостиво согласился Козлов. — Мы ведь понимаем, что ты по глупости закон нарушаешь.

— Я и соли могу достать, — угодливо сказал Семенов, глядя на свою зеленую кастрюлю, где лежал теперь разделанный Гордеевым молочный поросенок.

— Давай, давай... — кивнул Козлов.

Не спеша, деловито Семенов уложил в печке дрова, полил их из банки бензином, сунул клок газеты и спросил, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Спички есть?

Ему дали спички, дрова занялись сразу, но Семенов не спешил. Он подождал, пока пойдет тепло, потом будто вспомнил про соль, сходил за ней в кладовку и посолил закипавшую воду в кастрюле с поросенком.

Полициан обступили плиту, нюхали варево, грели руки у огня.

— Я сейчас еще дров принесу, — сказал Семенов и деловито зашагал в кладовку. На одном подоконнике стояла отобранная у него бутылка масла и несколько забытых полицаями его же мелких луковок. Семенов взял их и отнес к плите.

— Бросьте в суп, — сказал он, протягивая лук. — Вкусней будет.

Когда Семенов проходил мимо лежащих на другом подоконнике автоматов, он протянул руку, взял верхний и не обернулся назад. Ему было страшно оглянуться.

Полицаям, к счастью, было не до него. Кто-то опять завел патефон, кто-то разлил вонючий самогон по алюминиевым кружкам.

В кладовке Семенов перевел дух. Автомат оказался удивительно тяжелым. В нем было много металла и ложе было из какого-то тяжелого дерева. Глухой, до сих пор безучастный ко всему вокруг, сидел на нарах вытаращив глаза и смотрел на мальчика с ужасом. Семенов подошел к той самой щели между горбылями, которую облюбовал заранее.

Полицаям было не до него. Юрка Гордеев снял рубаху и показывал им свои бицепсы.

— Ты ткни,— говорил он каждому по очереди.— Ты пальцем ткни!

Полициаи восхищались, а Гордеев показывал мышцы живота.

— Ты сюда ткни! — говорил он. — И вы, господин начальник полиции, не побрезгуйте...

— Пшел вон, дурак, — обозлился лилипут Сазанский. — Козлов, заведите патефон.

В пятый или в шестой раз Александр Павлович слушал эту пластинку, и никто не мог бы поверить, что она так берedit его каменную душу.

Саша, ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу,
Саша, ты помнишь этот вечер,
Тот майский вечер, каштан в цвету...

Именно так все и было, когда Саша и Тоня Козловы, смуглые и крепкие, в мае 1938 года по профсоюзной путевке отдыхали в Сочи.

Именно так все и было: парк возле самого моря, теплый вечер мая и каштаны, цветущие розоватыми фонтанчиками.

... Как незаметно текут года, а-а!..

Певица пела с приторным лживым надрывом, а Козлов думал о мудрости этих слов и о том, что он-то нигде не пропадет, любые трудности преодолееет.

«Как странно,— думал Семенов глядя на него сквозь щель между горбылями, — я всю жизнь звал этого человека по имени-отчеству — Александр Павлович. Вот он сидит у пустого саквояжа, с которым раньше ездил в район доктор Лев Ильич Катасонов. Доктора повесили, а Александр Павлович пьет водку и слушает патефон. Неужели он на самом деле ничего не боится?»

Семенов вставил в щель дуло автомата, прицелился, обернулся на забившегося в угол глухого, еще раз прицелился и нажал на спуск.

«Слева направо, справа налево... Ниже надо брать», — думал он, с расстояния в пять метров расстреливая полицаев. Ему показалось, что в тот мо-

мент, когда он нажал на спуск, Козлов обернулся и увидел нацеленное на него дуло.

Автомат перестал вздрагивать, наступила полная тишина. Кончились патроны. Дуло застряло в щели. Семенов изо всей силы рванул автомат на себя и тут же бросил его на пол.

Он вышел из кладовки, взял с подоконника другой автомат, со стола буханку хлеба, дрожащей рукой сунул в карман бутылку с постным маслом. Он открыл дверь тамбура, сделал шаг, и... страшный удар свалил его с ног.

Гордеев промахнулся, и полено, которое он занес над головой мальчика, задело его по касательной. Зато оно расколело кадку для воды, стоявшую в тамбуре.

Пулеметчики у карьера услышали стрельбу в бараке и подняли тревогу. На место происшествия в сопровождении взвода эсэсовцев прибыл сам комендант Ролоф.

«НЕ ПОМНЮ...»

Дед Серафим, как это и предвидел Семенов, проснулся ночью и забеспокоился. Иногда мальчишка и раньше среди дня исчезал, как сквозь землю проваливался, но возвращался он всегда довольно быстро. Теперь же его не было среди темной метельной ночи. Записка, которую дед нашел на кухне, встревожила еще больше.

«Понес нашим передачу. Уверен, что все будет хорошо. Спи, дедушка, спокойно, не волнуйся».

До позднего ноябрьского рассвета дед Серафим в одном исподнем бродил по выстывающей квартире, а часам к десяти оделся и пошел в комендатуру. Он все себя понял и решил, что просто кинется Козлову в ножки и будет Христом-богом умолять за мальчишку. А Козлов не поможет, пойдет к самому коменданту: тоже ведь человек, не даст ребенка мучить.

Дед ходил возле комендатуры взад и вперед, совсем не думая, что привлекает этим чье-то внимание. «Не пропустить бы Александра Павловича, — думал он. — Не пропустить, когда на службу пойдет или выйдет оттудова. Тогда прямо в ножки к нему, чтоб все

видели. На людях ему трудно отказать будет. Выпустит мальчишку».

Эсэсовцев, простых солдат и офицеров возле комендатуры крутилось много, приезжали, уезжали, говорили по-своему, громко хлопали дверями разноцветно-пегих машин, но никого из знакомых русских полицаев не было.

Часов в двенадцать дед увидел Антонину. Она шла быстро, деловито. Дед подумал, что можно бы и ее просить за Семенова: Антонина на мужа имела очень большое влияние. Только вот захочет ли она? Больно уж шумная и злопамятная. Пока дед раздумывал, Антонина скрылась в дверях комендатуры. «Наверно, обедать вместе с мужем будет, — догадался дед. — У них, говорят, во дворе столовка хорошая».

Потом дед увидел, как Антонина с каким-то немцем села в легковой автомобиль, а Александр Павлович все не появлялся.

Часа в три пополудни комендант Ролоф встал из-за своего большого письменного стола и с чашечкой горячего кофе в руках подошел к окну.

— Послушайте, Вилли, — сказал комендант своему помощнику, молодому безусому эсэсовцу. — Не кажется ли вам, что этот старик шляется здесь с самого утра? Уверен, он что-то знает, и его следует допросить. Распорядитесь, Вилли.

Капитану Ролофу перевалило за пятьдесят. Рыжий, щуплый, с лицом, похожим на кукиш, он всегда был настороже, всех и во всем подозревал. Ролоф происходил из ревельских, эстонских, немцев, в Германию репатриировался в начале тридцатых годов. Он просился в СС и в действующую армию специально для того, чтобы попасть на свою бывшую родину, в Таллин, и свести там счеты со многими, кого он считал личными врагами и врагами Германии. В Колыче у Ролофа личных врагов нет, но русских он не любил так же, как эстонцев.

Дело с уничтожением полицаев в бараке возле гравийного карьера, в непосредственной близости от нескольких пулеметных гнезд, где дежурили опытные солдаты СС, казалось Ролофу более сложным и опасным, чем об этом говорили первые результаты следствия. Не зря же это случилось именно в ночь на

Седьмое ноября, не об этом ли говорила листовка, которую несколько дней назад показывал Ролофу Сазанский. По рассказу полицейя Гордеева получалось, что девять взрослых мужчин мог уничтожить из автомата слабенький русский мальчик, случайно оказавшийся в том бараке. Гордеев был вчера сильно пьян. От него и сегодня несло самогоном на три метра вокруг. Видимо, полицейя успел опохмелиться, ибо все разговоры вокруг ночного происшествия сворачивал к тому, что теперь начальником полиции должен стать именно он, и Ролоф пообещал ему это, ибо других кандидатов все равно не было.

Глухой сторож карьера — второй свидетель этого дела — отрицал все. Он ничего не видел, ничего не слышал, никого не знает. Ролоф очень розозлился и пугнул сторожа криком и пистолетом, но это ни к чему не привело: глухой упал на колени и завыл.

Даже личность малолетнего партизана установить пока не удалось. После удара по голове мальчишка пришел в себя довольно скоро, но не хотел отвечать ни на какие вопросы. С подобным упрямством Ролоф уже встречался в России, но надеялся, что этого маленького бандита он заставит говорить. Оставалось еще невыясненным, откуда Козлов знал арестованного. Гордеев утверждал, что Козлов говорил об этом Сазанскому, а Сазанский даже хвалил этого партизаненка, говорил, что он правильно делает, помогая топить печку. На упрек Ролофа, что следовало лучше запомнить этот разговор, Гордеев резонно ответил: «Если б я их хорошо слушал, я бы там теперь лежал. Я при первом выстреле ласточкой в нижний угол двери нырнул. Я вратарем стоял за школьную команду, у меня реакция, как у тигра».

Надо было допросить вдову Козлова, однако Ролоф сообразил это не сразу, а лишь тогда, когда она уехала к месту происшествия, чтобы организовать похороны по русскому обряду. Разговор с Антониной у Ролофа был неприятный, она требовала компенсацию за трагически погибшего мужа, а Ролоф вынужден был прямо ей сказать, что этого не будет, не предусмотрено правилами.

Ролоф решил, что вдову Козлова он вызовет для опознания преступника завтра, но не верил, что это

даст результат. Кроме того, она наверняка опять станет требовать компенсацию за смерть мужа.

— Господин комендант, — в кабинет вошел Вилли, — разрешите доложить? Ваше предположение оказалось правильным. Старик по фамилии Чинилкин разыскивает мальчика по фамилии Семенов, который ночью отправился в карьер, чтобы повидать свою мать. Старик утверждает, что пришел сюда, чтобы просить заместителя начальника полиции Козлова отпустить мальчишку на свободу.

— Значит, старик еще ничего не знает?

— Так точно.

— А Козлова он откуда знает?

— Говорит, что жили в одном дворе и что Козлов тоже знает этого мальчика и будто бы любит его.

— Любил, — строго поправил подчиненного Ролоф. — Козлов больше никого любить не может. Даже свою жену.

Комендант посидел молча, подумал и распорядился:

— Старика не выпускать, готовить к очной ставке. На квартире у старика и во всем дворе провести тщательный обыск. Возьмите собаку.

Обыск в райтоповском дворе дал блестящие результаты. Собака, которой дали понюхать вещи Семенова, повела эсэсовцев к деревянному сараю. Под полом, в узком кирпичном погребе, были обнаружены сочинения Маркса, Ленина и Пушкина, большое количество тонких брошюр, неисправный радиоприемник в буковом ящике, а на нем аккуратно нарезанные листы тетрадной бумаги, карандаши и копирка. На одном из листов копирки читался текст: «Смерть фашистам... здравствует 7 Ноября!»

Этой улики Ролофу было вполне достаточно, чтобы утвердиться в своей догадке: мальчишка не случайно оказался в бараке, он выполнял задание разветвленной организации. Но обыск в самой квартире дал еще одну не менее вескую улику. Там была изъята книга «Принц и нищий», сочиненная Марком Твенном, с надписью на титульном листе: «Т. Семено-

ву, которому я абсолютно доверяю!» И четкая подпись: «Л. С. Щербаков».

Комендант Ролоф легко установил, что это тот самый Щербаков, который убил коменданта Келлера на стадионе. Было установлено также, что за время оккупации мальчик несколько раз приходил к бывшему завхозу школы.

При всей своей подозрительности Ролоф понимал, что дед Серафим вовсе ничего не знал о тайной деятельности мальчишки и о его связях. Дед был допрошен тщательно, всесторонне, и только после этого Ролоф устроил очную ставку.

Неискушенный в полицейских порядках, дед как только увидел Семенова, так заговорил сам:

— Господи! Родименький, что это соделали с тобой, стреляли, что ли? Говорил тебе — не суйся к ним, не лезь... И лицо все черное...

Семенов сидел на облезлом венском стуле, прямой и безмолвный. На деда он не смотрел.

— Не молчи, Семенов, не молчи! Они ведь мучить будут...

— Значит, вы знаете этого человека? — прервал деда комендант и указал на Семенова.

— Знаю, — охотно подтвердил дед. — С первых мокрых пеленок... Да ты не молчи, милый. Все уж теперь. Они все вызнают...

Ролоф опять прервал старика, он обратился к Семенову:

— А ты знаешь этого человека?

— Нет, — сказал Семенов. — Не знаю.

Комендант засмеялся злорадно. Это глупое упорство он наверняка теперь сумеет сломить.

— Назовите себя, — приказал он старику.

— Чинилкин Серафим Павлович, — послушно отозвался дед и опять стал умолять Семенова не противиться силе и рассказать все. Дед плакал. Слезы текли по дряблым небритым щекам, плечи вздрагивали, как у ребенка. Он понимал, что фашисты замучают мальчика, и никакие тайны не казались ему сейчас важнее этой детской жизни.

Дед подписал протокол, и Ролоф приказал отпустить его.

— Иди, старик, иди. — Комендант похлопал его

по слабому плечу. — Ты святой человек! У тебя хорошее русское имя — Серафим! Серафим — по-русски значит ангел?

— Бога нет, — назло немцу твердо сказал дед, хотя сам он в этом сомневался.

На другой день была очная ставка с Антониной Козловой. Как Ролоф и ожидал, та прежде всего хотела добиться денежной компенсации за геройски погибшего мужа. Единственное, что пообещал комендант, это перевести вдову на работу в привокзальное кабаре, где обеспечение было много лучше, чем в обычной столовой. Потом ввели Семенова, и Ролоф спросил Антонину:

— Вы можете подтвердить, что это действительно Семенов Анатолий и что он жил с вами в одном дворе?

Антонина с готовностью подтвердила.

— Вы не ошибаетесь? — спросил Ролоф.

— Конечно, нет. Вся семья у них такая бандитская. Сестру вы, слава богу, повесили, а мать с доктором Катасоновым работала.

Ролоф подошел к Семенову.

— Признавайся! — сказал он.

Семенов молчал.

— Ты Семенов?

Мальчик молчал.

— Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

— Не помню... — сказал Семенов.

— Ты зря упорствуешь, — сказал Ролоф, — совершенно зря. Где твоя сестра?

— Не знаю.

— Как ее зовут?

— Не помню.

При Антонине Козловой комендант Ролоф впервые ударил мальчика сам. Упорство бесило его прежде всего потому, что казалось совершенно бессмысленным. И еще бесило коменданта то, что у него не было самого сильного оружия для борьбы с упорством. Буквально за несколько дней до случившегося он сам отправил Наталью Сергеевну Семенову из местного гестапо в областной город. Там готовили показательный суд над саботажниками и Семенову затребовали для этого. Очная ставка с матерью могла, по мнению ко-

менданта, дать много. Было два верных способа воздействовать на преступников. Первый — избивать мать в присутствии ребенка, и тогда ребенок во всем сознается. Второй — избивать ребенка в присутствии матери, тогда та расскажет все, что знает. Увы, матери под рукой не было.

Мальчика пытали разными способами, но допросы были похожи один на другой.

— Как фамилия?

— Не знаю.

— Твоя фамилия Семенов?

— Не знаю.

— А может быть, ты — Иванов?

— Может быть.

— А может быть, ты — Ролоф?

— Да, Ролоф.

Комендант получал нагоняи от начальства и по ночам просыпался от обиды. Он не узнал ничего о связях с партизанами, не услышал новых имен. Мальчик отрицал все, даже само собой разумеющееся. Между тем Берлин требовал решительных и радикальных мер в борьбе с партизанским движением. Еще в октябре 1941 года главное командование сухопутных сил германской армии выпустило «Основные положения по борьбе с партизанами». Берлин указывал, что партизаны срывают снабжение фронта, дезорганизуют тылы, нарушают коммуникации. Берлин давал указания, а Ролоф не умел их выполнять.

Оккупантам становилось все труднее. Что и говорить, на местах об этом знали больше, чем в Берлине. В том же Колыче и вокруг него постоянно увеличивалось количество диверсий. Все чаще летели под откос эшелоны, все опаснее было на автомобильных дорогах, все больше листовок появлялось в городах и селах. Фашисты были уверены, что все партизанские отряды так или иначе связаны между собой и имеют единое руководство.

Они ошибались тогда. В начале зимы 1941/42 года единого руководства партизанским движением еще не было. Было другое: единое стремление защитить Родину, спасти ее от унижения, покарать оккупантов. Единое руководство было создано несколько позже, и тогда партизанские армии в тылу врага превратились

в силу, с которой так и не сумела справиться вся гитлеровская военная машина.

Шел декабрь. До полусмерти замучив мальчика, комендант Ролоф попросил свое областное начальство прислать в Колыч для очной ставки мать Семенова. В ответ он получил приказ отправить туда сына.

Там сами хотели разобраться с мальчишкой. Они верили коменданту, который утверждал, что «этот мальчишка есть звено, уцепившись за которое, можно вытянуть всю цепь большевистского подполья».

Историки Великой Отечественной войны подсчитали, что к концу 1941 года на оккупированной фашистами советской территории было создано более двухсот партизанских отрядов, в которых воевало девяносто тысяч бойцов. Принципам формирования партизанских отрядов специально обучали опытных командиров Красной Армии, создавали организаторские отряды, которые переправляли через линию фронта. Однако очень многие партизанские отряды создавались прямо на месте во вражеском тылу. Организаторами таких отрядов становились коммунисты, комсомольцы и беспартийные активисты.

Командир партизанского отряда Карп Андреевич Дьяченко много лет был хозяйственным и партийным работником. Только в самой молодости пришлось ему когда-то воевать в степях Украины против Петлюры. Когда его оставили в немецком тылу для организации партизанского движения, Дьяченко надеялся, что будет заниматься в основном политической работой, а для военного руководства найдется человек более опытный, желательнее кадровый командир. Все сложилось иначе. Вот уже несколько месяцев Карп Андреевич руководил самым большим в этом крае партизанским отрядом. Люди доверяли ему, и сам он все больше и больше проникался верой в свои силы. Рос его отряд, рос список боевых дел. Огорчало Карпа Андреевича, что еще не удастся объединить все движение Сопrotивления в области, что многие группы действуют некоординированно и потому терпят большой урон. Правда, с каждым днем разобщенность от-

дельных отрядов уменьшалась, надежд на централизацию становилось все больше.

В начале декабря Дьяченко установил регулярную связь с Большой землей и стал получать задания от командования Красной Армии.

Первым вопросом, который задала Большая земля, было: «Можете ли организовать прием транспортного самолета?» Дьяченко понимал, как это важно, и ответил: «Сможем, сообщите требования к площадке для посадки и взлета».

К 15 декабря 1941 года партизаны закончили строительство лесного аэродрома. Большая земля обещала прислать партизанам продукты, оружие, боеприпасы, новую радиоаппаратуру и свежие газеты.

«Подготовьте больных и раненых для отправки на Большую землю,— сообщили Дьяченко,— и постарайтесь добыть «языка» из числа обер-офицеров или генералов германской армии».

Карп Андреевич про себя решил, что не может принять с Большой земли самолет, пока у него не будет достаточно интересного «языка».

В штабную землянку вызвали четырех молодых командиров. Перед Дьяченко лежала карта. Он указал четыре дороги, на которых следовало устроить засады и ждать проезда крупных фашистских военных.

— Они нужны нам только живые,— подчеркнул Дьяченко,— и желательно вполне здоровые.

Младший лейтенант Виктор Дубровский встал.

— Разрешите обратиться, товарищ командир?

Дубровскому не пришлось воевать в регулярной армии. Наверно, поэтому он и в партизанах строго соблюдал устав.

— Я просил бы направить меня вот сюда.— Он указал район Колыча.

Дубровский не первый раз просил направить его в район родного города, и Дьяченко не первый раз отказывал ему. Отказал и теперь.

— От нас до Колыча чуть не триста верст,— сказал он,— да и какие там могут быть «языки»! Нет, Витя, все четыре группы будут действовать только вблизи областного центра. Тут опасней, но больше шансов взять крупную птицу.— Он четко обозначил задание каждой группы и на прощание сказал Дуб-

ровскому: — Обещаю тебе, пойдешь в Колыч, только не в этот раз.

Оставшись один, Дьяченко опять склонился над картой. Он размышлял о том, что в Колыч давно бы надо послать человека, только вряд ли это должен быть Дубровский. Вряд ли. Скорее всего, это должен быть кто-то другой. Дубровского, без сомнения, многие помнят и могут легко узнать в таком маленьком городке.

Вначале Карп Андреевич рассчитывал, что именно в районе Колыча будет находиться штаб его партизанского отряда, но случилось иначе. До Колыча три сотни километров, несколько магистралей, регулярно охраняемых фашистами, а вокруг маленького городка лагеря военнопленных и охранные войска. И все-таки Карп Андреевич решил, что сразу же после Нового года он лично пойдет в Колыч. Перехваченное фашистское донесение свидетельствовало о том, что в Колыче не перестают действовать группы Сопrotивления. Интуиция и жизненный опыт подсказывали Дьяченко, что одной из тамошних диверсионных групп руководит школьный завхоз Щербаков. Такой человек не станет дожидаться специальных указаний; он действует по обстановке и, судя по отрывочным сведениям из Колыча, действует отлично.

Декабрьская метель несколько дней кряду бушевала над лесами. Партизанам, ушедшим на поиски «языка», это было на руку, но те, кто находился вблизи лесного аэродрома, трудились по двадцать часов в сутки: летное поле заметало, и Дьяченко боялся, что, когда кончится метель и приведут «языков», он не сможет принять самолет.

Виктор Дубровский решил во что бы то ни стало вернуться в лагерь первым и обязательно с генералом, на худой конец — с полковником. Трое суток его группа сидела в засаде, намеченной Дьяченко.

Трое суток метель то усиливалась, то ослабевала, но никак не прекращалась. За это время мимо партизанской засады прошли две обозные команды, где старшим по званию были фельдфебели. Отбивать их не имело никакого смысла. Прошла мимо партизан и од-

на боевая часть. Это была колонна тяжелых танков. Может быть, во главе этой части стоял вполне осведомленный гитлеровский обер-офицер, но захватить его можно было только при помощи столь же сильных танков и артиллерии.

На четвертые сутки Виктор вспомнил, что «победителей не судят», и, пользуясь метелью, среди ночи провел свою группу за городскую черту. Это было в ночь на понедельник, а в 9.30 утра фельдфебель контрольно-пропускного пункта на западной окраине города увидел серый «оппель-адмирал» полковника интендантской службы Ормана. Полковник ведал снабжением группы войск и часто разъезжал на своей шикарной машине. Фельдфебель отдал полковнику честь и удивился, что тот сидел не на заднем сиденье, как всегда, а рядом с шофером. Увидев, что сзади сидят несколько человек, фельдфебель заподозрил неладное и побежал к телефону, чтобы предупредить следующий контрольно-пропускной пункт, который находится в десяти километрах.

Однако машина полковника Ормана так далеко не доехала. «Опель» стоял на опушке леса, мотор работал. Когда командир фашистского дорожного патруля в недоумении осторожно открыл дверцу машины, в лицо ему ударил взрыв.

Виктор прокладывал лыжню, следом за ним шел жилистый фельдшер Гриша Костюченко. Он тащил на плечах полковника Ормана.

Младший лейтенант Дубровский был слегка суеверен и потому то и дело плевал через левое плечо. Когда он оборачивался, чтобы плюнуть, встречался взглядом с полковником, и это придавало ему сил.

Пока все шло прекрасно. Машину они бросили в ста метрах от места, где накануне оставили свои лыжи, а мина, заложённая под переднее сиденье «оппеля», работала громко. Но для верности все-таки хорошо время от времени плюнуть через левое плечо...

— Давай, давай,— кричал Дубровский Грише,— у полковника небось уши мерзнут!

Грише это казалось шуткой, ему было жарко. А у

полковника действительно мерзли уши, потому что в спешке партизаны потеряли его шапку.

— Нажимай, Дубровский!— сзади кричал Костюченко.

Метель, притихшая было к утру, усилилась, и Витя надеялся, что она быстро заметет их лыжню.

Это была не первая удачная операция бывшего танкиста. И всякий раз он вспоминал тот страшный вечер, когда он стоял в чужом саду и мимо него по улицам советского города шли фашистские танки. Они шли с открытыми люками, а у Виктора не было ни гранаты, ни бутылки с зажигательной смесью, и желтая кобура его была пуста...

«Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть дней промелькнувших»,— вспомнил Виктор стихи Эльвиры Семеновой. Он рассмеялся радостно и, обернувшись, крикнул Гришке:

— Давай, давай!

Партизаны шли без остановки семь часов, и когда сделали привал, оказалось, что полковник Орман все-таки отморозил себе уши.

Виктор коротко доложил Карпу Андреевичу о выполнении задания, и тот, едва дослушав его, распорядился, чтобы на Большую землю передали: «Можете присылать самолет. «Язык» есть. Радируйте, встретим».

Дубровскому хотелось подробно рассказать командиру, как они почти наугад выбрали приличный особнячок, как проникли в заснеженный фруктовый сад, как осторожно выдавили стекло венецианского окна, выходящего на веранду, и в каком смешном трикотажном колпаке с кисточкой спал полковник. Однако Карп Андреевич решительно его остановил:

— Ладно, Виктор. Пока хватит. Потом как-нибудь, под другое настроение.

Виктор встал по стойке «смирно». Он не хотел скрывать обиду. Ведь он не хвастает, не просит награды, просто рассказывает, как все было.

— Слушаюсь!— сказал он.— Попробуюсь рассказать под другое настроение.— И, повернувшись налево кругом, сделал два шага к двери.

— Не всем так везет, как тебе,— сказал Дьячен-

ко.— Вчера вернулась с задания вторая группа. Разгромили две эсэсовские машины с конвоем, потеряли трех человек. Думали, там важная шишка едет. Оказалось, эсэсовцы сопровождали мальчика лет десяти. Еле живой. Пытали его, понимаешь? Пытали,— еще раз повторил Дьяченко.

Теперь Виктор понял, почему командир так невнимательно отнесся к его и вправду чуть хвастливому рассказу.

А Дьяченко добавил:

— Между прочим, взяли его у областного города, но на Колычском тракте. Есть основания думать, что мальчик из Колыча.

— А он где, Карп Андреевич? Может быть, я его знаю?

— Стоит ли спешить,— возразил Дьяченко.— Поди поспи, а вечером заглянешь к медикам.

— Есть!— Виктор вышел из землянки командира и направился прямо к медикам. Он шел, думая, что Дьяченко удивился бы, узнав, что младший лейтенант и в самом деле пошел спать.

В землянке у медиков в отличие от остальных землянок было окно. Встроенное в слегка покатую крышу, оно походило на парниковую раму. Непосредственно под окном стоял операционный стол, а правее, на высоких полатах, лежал очень худенький мальчик. Он лежал раскинувшись, и под тонким байковым одеялом угадывался весь его скелет.

Дубровский подошел поближе. Мальчик равнодушно поглядел на него и прикрыл глаза.

— Можно мне поговорить с ним?— спросил Виктор врача.

— Попробуй...— сказал тот.— Только это бесполезно.

— Здравствуй,— сказал Дубровский.

— Здравствуйте...

— Как тебя зовут?— спросил Дубровский, чувствуя, что где-то видел мальчика.

— Не знаю,— ответил мальчик.

— А фамилия?

— Не помню.

Виктор догадался, что мальчик до сих пор думает, что он у немцев.

— Ты понимаешь, где ты находишься?

— Понимаю.

— Где?— невольно повысил голос Дубровский.

— В лесу,— сказал мальчик и отвернулся.

Виктор увидел его профиль — открытый лоб, прямой нос с горбинкой, высокую верхнюю губу. Этот профиль Витя знал очень хорошо. Это был профиль Эльвиры!

Витя вспомнил, что у Эльвиры был братишка и что он видел его в те полчаса. Правда, начисто вылетело из головы, как этого братишку звали.

Мальчик лежал к нему в профиль, и Дубровский все больше убеждался, что это не случайное сходство.

— Я сказал тебе — напрасный труд,— буркнул врач за спиной у Дубровского.— Я не специалист по нервным болезням, но это напоминает амнезию, как она описана в учебниках. Можно предположить, что она травматического характера. Его били по голове. И можно думать, что самовнушенная.

— А что такое амнезия?— обернулся Виктор к врачу.

— Патологическая потеря памяти. Бывает — навсегда. Амнезия описана довольно подробно. Различают, например, полную амнезию, тотальную и частичную, или, как ее еще называют, частную. Частичная распространяется избирательно на события определенного характера или времени. К счастью для человечества, мало кому удается избавиться от прошлого таким именно образом.— Врач старался придать своим словам характер сухой академической справки, но голос его срывался, в горле пересохло. Он лучше других знал, что это значит. Он продолжал:— В данном случае, если хочешь знать, причину амнезии установить особенно трудно. Она могла наступить сразу после травмы черепа. Потом мальчик сам гасил в себе любые проблески памяти. Сознательно он это делал или подсознательно — тут невозможно найти грань. Ведь он был в гестапо, и его пытали...

— Да,— сказал Виктор,— такое лучше не помнить... Только и нарочно не забудешь.

— Не утомляй его,— сказал врач.— Поболтали, и хватит.

— Еще несколько вопросов,— сказал Витя.

— Десять минут,— согласился врач, взглянув на часы.

Виктор подошел совсем близко. Он был уже абсолютно уверен, что перед ним брат Эльвиры и, конечно, это его он видел в тот день, когда забегал в райтоп.

— Я тебя знаю,— твердо сказал Дубровский,— Твоя фамилия Семенов.

Мальчик ответил:

— Не помню...

— Ты же Семенов, Семенов, — настаивал Виктор.— Мы в одной школе учились — ты был в третьем или в четвертом. Я тебя помню, и ты должен меня помнить. Я в «Ревизоре» Хлестакова играл.

— Не помню,— ответил мальчик,— я вас не помню...

— Ну вспомни же, вспомни! — молил Дубровский.— Я к Эльвире приходил. Эльвиру ты помнишь?

— Не помню...

— Я был в летней гимнастерке, с одним кубиком, желтая кобура...

Виктор не сомневался, что перед ним брат Эльвиры. Он мучительно пытался вспомнить, как его зовут: Женя... Вася... Игорь... Вова...

— Я тебя знаю, я только забыл, как тебя зовут,— убеждал он мальчика.

— Я тоже забыл... — тихо ответил мальчик.

— Ну вспомни, вспомни,— умолял Виктор.— Вы жили на Луговой, рядом с Салтыкова-Щедрина. У тебя сестра есть, Эльвира. Я ее друг — Дубровский, Витя. Понимаешь, Дубровский. Эля меня Дефоржем звала. Меня в школе дразнили: «Я не француз Дефорж, я — Дубровский».

— Не помню я... — устало произнес мальчик.

Из всего «Дубровского» Виктору вспомнилась теперь почему-то всего еще одна фраза, составленная из пяти русских и одного французского слова.

— Я не могу дормир в потемках,— сказал он мальчику.— Вспомни, я Дубровский, ты Пушкина читал? Помнишь?.. Я не могу дормир в потемках... Ну, пожалуйста, вспомни! У тебя сестра есть, Эльвира... Это помещик говорит, Пафнутьич: «Я не могу дормир в потемках». Помнишь?

— Хватит,— строго сказал врач.— Немедленно

уходи. Неужели ты не видишь, что ему плохо от твоих вопросов.

Виктор схватил в охапку полушубок и выскочил на мороз. Быстро темнело, в дальней землянке кто-то играл на балалайке, со стороны кухни тянуло подгоревшей кашей.

Самолет с Большой земли прилетел звездной ночью. Летчики сразу увидели ориентиры: всего один разворот над сигнальными кострами, резкое снижение и стремительная посадка с внезапно притихшими двигателями.

Когда самолет остановился и его догнала поднявшаяся за хвостом снежная пыль, первым шагнул Карп Андреевич Дьяченко.

Три летчика в теплых шлемах, меховых куртках и унтах спрыгнули на землю. Карпу Андреевичу они показались ужасно знакомыми, похожими на известную фотографию Чкалова, Байдукова и Белякова после их знаменитого перелета Москва — Америка через Северный полюс. Летчики и сами знали про это сходство и стремились к нему еще больше.

Они были немногословны, улыбчивы, чуть-чуть снисходительны к восторгам в свой адрес. Летчики угощали партизан папиросами «Казбек» из твердых довоенных коробок, давали прикуривать от шикарных зажигалок. Партизаны, даже некурящие, закурили теперь: каждая папироса — часть Большой земли, частица невозвратно далекой довоенной жизни.

Самолет разгрузили быстро. В глубь леса унесли новую рацию, боеприпасы, продукты, газеты и книги.

Три партизана подвели к самолету полковника Ормана. На всякий случай большая ушанка была надета на нем задом-наперед, чтобы глаза не видели ничего вокруг. Казалось, что голова свернута раз и навсегда. Полковник крутил ею и свинцово-серо светился в ночи погонями и значками.

Потом появился партизанский доктор. Он нес на руках большой сверток одеял, внутри которого, как личинка в коконе, лежал Семенов.

— Дай помогу,— просил, идя за ним следом, Виктор Дубровский.— Дай помогу...

Доктор не оборачивался. Нести Семенова было легко: он весил не больше двух пудов. В самолете было холоднее, чем в лесу. Может быть, доктору так казалось, но он побежал за другими одеялами.

Виктор Дубровский подошел к Дьяченко.

— Может, погодим?— сказал он.

— Что?— не понял тот.

— Может, погодим пацана отправлять?

— Нет,— отрубил командир отряда, но, взглянув на Виктора, счел нужным объяснить:— Во-первых, врач считает, что жизнь мальчика в опасности. Во-вторых, у нас нет медикаментов и специалистов по этим болезням. В-третьих, у меня нет времени обдумать твое предложение. Самолет улетит через десять минут.

Дубровский посмотрел в глаза командира и понял, что просить бесполезно. Дьяченко был непреклонен. У него было еще и «в-четвертых», о котором он никому не хотел говорить: фашисты нащупали местоположение отряда и придется переходить на новое место.

Прибежал врач с одеялами и сказал пилоту, что мальчика нельзя надолго оставлять одного, и если будет холодно, то придется его еще раз укутать.

— А документы на него есть?— спросил летчик.

— Нет,— сказал Дьяченко.— Документов нет, а сам он не помнит ни фамилии своей, ни имени.

— Фамилию я знаю точно,— сказал Дубровский.— Его фамилия Семенов, а имени и отчества я вспомнить не могу. Запишите условно: Семенов Алеша... Кажется, все-таки Алеша.

Сказав это, Виктор вдруг вспомнил, что знал отчество Эльвиры. Он однажды, дурачась, назвал ее Эльвирой Вячеславовной, а она неожиданно обиделась. Потом только он узнал, почему обиделась Эльвира.

— Значит, Семенов. Без имени и без отчества,— говорил летчик, записывая что-то на скрипящей кожаной планшете.

— Нет,— поправил его Дубровский.— Имя запишите Алеша, а отчества не надо. Слишком много условностей: условное имя, условное отчество...

Небо с запада стало быстро заволакиваться, полетел снежок, и командир экипажа сказал, что хорошо бы линию фронта пройти над облаками.

Когда самолет исчез за лесом, снег шел вовсю. Пар-

тизанам было жаль, что он засыпает след самолетных лыж. Хотелось, чтобы командир дал команду и на завтра готовить площадку для приема самолета, однако Дьяченко об этом ничего не сказал.

Он смотрел на восток, где не было еще никаких следов рассвета, и молчал.

Молча же он повернулся и пошел в лес.

ЭПИЛОГ

Если вам, дорогой читатель, захочется узнать о событиях какого-либо конкретного прошлого, не ленитесь пойти в библиотеку и взять там подшивку газет того времени. Потом вы можете читать толстые тома, изучать архивные материалы, подлинные документы эпохи. Для серьезного исследователя это обязательно. Однако самое первое и потому самое сильное впечатление дадут вам только газеты.

Шел апрель тысяча девятьсот сорок третьего года.

В начале этой повести я вынужден был привести несколько тягостных газетных сообщений первых месяцев войны, зато теперь с радостью могу рассказать, какие вести приносили газеты в сорок третьем.

12 января. Освобождение захваченных фашистами курортных городов Кавказа. Вновь советскими стали Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Георгиевск.

16 января. Присвоение воинского звания генерал-полковника Говорову Л. А. и Рокоссовскому К. К.

17 января. В последний час. 1. Успешное наступление наших войск южнее Воронежа. 2. Ликвидация окруженных фашистских войск в районе Сталинграда близится к концу.

В том же номере газеты приказ о введении новой формы одежды. Установлено ношение погон.

19 января. Войска Ленинградского фронта и Волховского фронта ссединились: прорвана блокада Ленинграда, длившаяся с сентября 1941 года.

Так начинался этот год. Таким он обещал быть. Таким он и был.

В марте наши войска освободили Колыч, еще через неделю отряд Дьяченко соединился с регулярными

частями Красной Армии; а вскоре Карпа Андреевича и командира отрядной разведки Виктора Дубровского вызвали в Москву.

На рассвете того апрельского дня, когда ученики ремесленного училища должны были выйти на предпраздничный субботник, в Москву въехал трофейный немецкий «супер-мерседес». Это была роскошная генеральская машина, изуродованная камуфляжем и заляпанная грязью.

На последнем КПП¹ у самого въезда в город старшина, проверивший документы, посоветовал:

— Вы бы помыли ее, товарищ водитель, в столицу въезжаете.

— При первой возможности, — заверил старшину водитель. Он плавно тронулся с места и, обернувшись назад, спросил: — В гостиницу «Москва», Карп Андреевич?

— Да. До тринадцати ты свободен, Витя. В четырнадцать мне в штаб.

Это был ничтожно малый срок, чтобы найти мальчика, от которого почти полтора года не было никаких вестей. Да и почему он в Москве? Его могли отправить в глубокий тыл, в теплые края, в Ташкент, например, где много фруктов и овощей, необходимых детскому организму.

В то утро камуфлированный серыми и зелеными пятнами трофейный лимузин видели в разных концах Москвы и Подмосковья. Виктор побывал на аэродроме, где базировались самолеты, обслуживающие партизанские отряды, в двух детских больницах, на нескольких частных квартирах и, наконец, оказался возле заводской проходной.

Вахтер наотрез отказался пропустить его на территорию завода и не разрешил позвонить по внутреннему телефону. Однако Виктор не обиделся на него. Ему понравилось, что в тылу такая бдительность и что Семенов работает на таком серьезном заводе. Виктор попросил кого-то из шедших на работу вызвать ученика ремесленного училища Семенова к своему «супер-мерседесу». Только теперь у него выдалось несколько минут, чтобы вымыть машину. Он достал из багажника ведро

¹ К П П — контрольно-пропускной пункт.

и тряпки, выпросил у вахтера воды и принялся за работу.

У него не было четкого представления о том, как он начнет свою беседу с Семеновым. Во всяком случае, это следует делать куда спокойнее, сдержаннее и разумнее, чем в тот раз в землянке партизанского доктора. Надо исподволь, постепенно, начиная со многих, но второстепенных деталей, помогать воспоминаниям мальчика. И еще одно: как можно чаще он будет называть мальчика его настоящим именем, Толей. Это поможет им сблизиться, вернуться к довоенной обстановке. О событиях недавнего времени Дубровский решил говорить как можно меньше. Вполне вероятно, что именно подсознательное желание мальчика во чтобы то ни стало избавиться от этих воспоминаний и привело его к амнезии.

Виктор многое повидал за два года войны, но о том, что увидел и узнал в своем родном городе, сам старался не вспоминать. Ему это, правда, никак не удавалось. Казалось, что все виденное только сейчас стало проникать в сердце. Будто раньше он только видел и не понимал того, что видел, а теперь вдруг понял.

...Сначала он зашел к матери Эльвиры. В холодной комнате, укрытая тряпьем, лежала изможденная и совершенно седая женщина. Отвечать на ее вопросы было трудно. Она, видимо, не надеялась, что сын жив. Не верила в то, что рассказывал Дубровский про партизанский отряд и про эвакуацию на Большую землю, да еще самолетом.

О пытках, о болезни, о потере памяти Виктор ничего ей не сказал.

Трудно было отвечать на вопросы матери, но еще труднее было ее спрашивать. Она медленно шевелила бескровными губами и глядела на Виктора по-детски беззащитно. Она не верила, что кто-то сможет ей помочь.

Виктор не выдержал ее взгляда и отвернулся. Неожиданно он встретился с точно таким же взглядом. Со стены на него смотрели такие же глаза. Он невольно встал и подошел ближе. В рамочке из морских ракушек была фотография Эльвиры. Восьмой класс, комсомольский значок на белой блузке. Это была та самая фотография, где Эля так походила на свою мать, та

самая, которая напомнила Александру Павловичу Козлову, что Эля комсомолка и ее следует занести в полицейские списки.

— У вас нет еще одной такой карточки? — спросил Виктор. — Я хотел бы... на память.

— Есть, — сказала мать. — Таких у нас несколько. Только я сейчас не найду. Возьми, Витя, эту. А рамочку на комод положи. Я с силами соберусь, найду и вставлю.

— Я лучше в другой раз, — решительно отказался молодой человек, представив себе ракушечную рамочку без фотографии.

— Бери, Витя. Мне спокойнее так. Бродя у нее жених был, любовь... Бродя она успела в жизни. Бери, Витя...

Потом он долго стоял на стадионе. Футбольное поле хлюпало под сапогами, а на единственной трибуне под скамейками серел снег или обрывки мокрых газет. Вдоль трибуны, подпертая в шести местах, стояла виселица, выкрашенная, как и трибуна, бледной голубой краской. За стадионом рябила белизной редкая рощица... «Все тихо в лесу. Только изредка птичка захочет воспеть прелесть дней промелькнувших и, вдруг испугавшись чего-то, смолкает...»

Виктор мыл машину, а в нескольких шагах от него уже стоял худенький мальчик в телогрейке и фуражке с лакированным козырьком. Семенов узнал Дубровского не сразу. Вначале просто понял, что видел его в такое время, о котором очень не хочется думать. Потом Семенов точно вспомнил землянку с окном, напоминающим парниковую раму, и этого молодого военного, пристающего с мучительными и бесполезными вопросами о прошлом.

— Это вы меня вызывали? — спросил мальчик. — Если можно, пожалуйста, побыстрей. Я отпросился на десять минут.

Дубровский тоже узнал Семенова и сразу же почувствовал, что тот сознательно не хочет говорить с ним.

Виктор продолжал мыть машину. Нарочитая вкрадчивость, с какой он заранее готовился провести свой первый разговор с мальчиком, оказалась совершенно неуместной.

— Ты не ошибся. Это я тебя вызывал,— сказал Дубровский, выплеснув грязную воду из ведра.— И не предупреждай меня, что торопишься. Это невежливо по отношению к старшим.

Виктор понял, что тон взят правильно. Надо говорить сурово: не о болезни, а о делах. Он распахнул дверцу:

— Садись. У меня печка работает, тепло. Потолкуем... Ты куришь?

— Нет, спасибо.

— Значит, я один покурю, а ты расскажешь, как работаешь, как живешь.

Дубровский, не торопясь, свернул сигарку, закурил. Он слушал довольно связный, хотя и краткий рассказ мальчика, а сам думал о том, что нет никакой возможности привезти этого ребенка к матери, которая и так еле жива. Конечно, может быть, в родном городе, в своем доме, в своей семье мальчик быстро вспомнит все. Хорошо, если вспомнит. А если нет? Встреча такого сына с такой матерью может погубить одного из них, а то и обоих. В голове вертелись слова, услышанные от врачей, рассказывавших ему о болезненной потере памяти, об амнезии. У мальчика случай частичной, или частной, ретроградной, амнезии. Такую амнезию называют еще и аффектогенной... От этих непонятных терминов легче не становилось.

Виктор решил: еще одну попытку вернуть мальчику память он предпримет сам. Правда, врач в детской больнице именно сегодня утром предупреждал, что такие больные интуитивно отталкивают от себя все, что связано с неприятными, отрицательными воспоминаниями. Насильственное возвращение к прошлому может привести к еще большей амнезии, ухудшить дело. И все же Виктор решился. Мальчик достаточно окреп физически и весьма толково рассказывает обо всем, что было после его освобождения от немцев.

Дубровский начал так:

— Я ехал к тебе за сотни километров, и у меня очень мало времени. Я хочу, чтобы ты выздоровел, и у меня больше возможностей, чем у всех здешних врачей. Во-первых, я хочу сообщить тебе, что твоя фамилия действительно Семенов, а зовут тебя Анатолием. Ты родился в городе Колыче, маму твою зовут На-

талья Сергеевна, она жива и будет очень рада тебя видеть... Понятно?

Виктор ждал, что будет.

— Простите, пожалуйста,— сказал мальчик,— но мне неудобно так долго отсутствовать. Там ребята вкальвуют, у нас субботник, а я с вами здесь болтаю. Я пойду...

— Постой,— ухватил его за тонкую руку Дубровский.— Ты понял, что я сказал?

— Понял,— сказал мальчик.— Только зовут меня Алексеем. Так по документам.

— Это я так тебя записал. Перед отлетом. А на самом деле тебя зовут Толей. Ты мне веришь?

— Верю,— согласился мальчик.— Но мне больше нельзя здесь сидеть. Перед товарищами стыдно. Я и так хуже других работаю.

— Ну хорошо. Ты сейчас пойдешь. Еще несколько вопросов. Неужели тебе не хочется увидеть маму, родной город, свой дом?

Мальчик с сожалением посмотрел на Дубровского.

— Как вы не понимаете: я очень хочу, но я ничего не помню. Как вы называли город?

— Колыч.

— Не помню. И маму не помню. И папу.

— У тебя еще сестра была.

— Не помню.

— Погибла она. Ее фашисты повесили.

Здесь Виктор перешел дозволенное. Врачи категорически запретили говорить о страшном прошлом, а он знал, что брат видел казнь сестры.

— Когда повесили? — спросил Семенов.

— Ты же сам там был осенью сорок первого,— сказал Виктор.— Ты же видел. Там говорили, что ты там был, когда Леонид Сергеевич Щербаков стрелял в коменданта. Ты помнишь Леонида Сергеевича? Он у нас в школе работал.

— Нет,— сказал мальчик.— Вы на меня не обижайтесь, но я врать не хочу. Ничего не помню.

— И Эльвиру не помнишь?— выкрикнул с упреком Виктор.

— А кто это? — спросил Семенов, потом догадался и добавил:— Это, наверно, моя сестра? Да?

Дубровский не ответил, он начал сворачивать но-

вую сигарку, но руки не слушались его, табак сыпался на колени. Он бросил сигарку себе под ноги и дрожащими руками достал из кармана гимнастерки фотографию Эльвиры.

— Вот, — протянул он Семенову карточку. — Вот твоя сестра. Понял?

Семенов взглянул на фотографию и отшатнулся. Какое-то время он молчал — и крикнул жалобно и пронзительно:

— Мама! Мамочка!

Он вспомнил все.

Сжавшись в комок, как голый на морозе, он подтянул ноги к подбородку.

Виктор боялся его потревожить; он украдкой глянул на часы. Было без двадцати два: вернуться в гостиницу к сроку он уже не успевал. А у Семенова все становилось на место. Он понял, что перед ним была фотография сестры, а не матери, вспомнил все про Эльвиру, про стадион «Буревестник», про Щербакова, стрелявшего в фашистов, про полицаев, слушавших патефон, про Александра Павловича...

Он вспомнил все.

Карп Андреевич Дьяченко вернулся в гостиницу на рассвете. Всю ночь в штабе обсуждали вопрос о создании крупных партизанских соединений в западных областях страны, о заброске новых организаторских отрядов, состоящих из людей, имеющих серьезный опыт партизанской борьбы. Командиром одного из таких новых отрядов был назначен Дьяченко. Завтра ему вылетать вместе с Дубровским к месту, где формировался отряд, но завтра это уже было все не завтра, а самое что ни на есть сегодня: день начинался, в апреле светает рано.

Поднимаясь в лифте на шестой этаж, Карп Андреевич внезапно для себя заснул и успел увидеть кусочек сна про довоенную жизнь. Он увидел, как приехал с шефами на открытие пионерского лагеря; погода была пасмурная, зябкая, собирался дождь, и музыка почему-то не играла. Карп Андреевич готовился произнести речь перед пионерской линейкой, ему должны были повязать красный галстук, а галстука не нашли.

Тогда из строя одетых в белос пионеров вышел изможденный, темнолицый мальчик. На нем почему-то было зимнее пальто из бобрика, на ногах рваные валенки. В руках мальчик держал алый пионерский галстук и значок с пламенеющим костром. Карп Андреевич наклонил голову, мальчик потянулся, чтобы надеть на него галстук, но не достал. Карп Андреевич еще ниже наклонил голову и проснулся...

— Шестой этаж,— сонно улыбаясь, сказала ему лифтерша. Она видела, что он заснул.

В полусне Карп Андреевич подошел к дежурной, в полусне услышал от нее, что ключ в номере, в полусне шел по длинному коридору. Он берег в себе остатки сна, потому что хотел досмотреть все про пионерлагерь. Иногда ему удавалось досматривать сны, и он знал, что главное — не просыпаться до конца.

Он вошел в номер и увидел, что на единственной кровати, укрывшись с головой, спит какой-то очень маленький человечек, а на коврике перед кроватью посапывает Дубровский. Карп Андреевич постелил себе рядом, подлез под полушубок Виктора и, засыпая попросил:

— Подвинься немного...

Уснул он быстро, про пионерлагерь ему больше не снилось.

На подмосковной товарной станции формировался состав, который должен был уйти на запад.

Пегий «мерседес» остановился возле переезда, и Виктор Дубровский, доложив о себе начальнику эшелона, представил ему худенького мальчика в промасленной телогрейке с большим солдатским вещмешком за спиной.

— Вот на него документы.

— Хорошо, — начальник не стал дальше слушать Дубровского. Он сказал, обращаясь к Семенову:

— У нас только одна теплушка для людей, отсюда двенадцатая. Видишь?

— Вижу, — сказал Семенов.

— Давай быстрее, — поторопил начальник. — Нас сейчас на другой путь потянут.

— Давай, — подтолкнул Семенова Дубровский. — Скоро увидимся.

Это было вместо прощания.

Семенов зашагал по черным шпалам. Он сгибался под тяжестью огромного вещмешка, куда Дубровский запихал недельный паек Карпа Андреевича и свой собственный. Виктор знал, что сейчас нужнее всего для мальчика и для его матери. Он знал, каково теперь в Колыче.

Семенов шагал вдоль длинных железнодорожных платформ, на которых под чехлами по очертаниям угадывались пожарные автомобили с выдвигаемыми лестницами над кузовом. «Зачем на фронте пожарные машины?» — подумал Семенов. Он не знал, что это и есть «катюши», для которых он сам делал снаряды в нашем РУ.

Семенов шагал не оглядываясь, мешок был очень тяжел, банки с американскими консервами и пачки пшеничного концентрата резали спину.

...Над Колычем светило солнце, и улицы просыхали. Семенов свернул на Луговую и сразу же увидел деда Серафима с сумкой почтальона на боку. Как всегда, он был занят делом, которое не имело к нему никакого отношения: помогал какой-то незнакомой женщине сдвинуть с места воз длинных жердей. Воз везла тощая большеглазая корова. Она смотрела по сторонам, не веря, что люди, которые кричат на нее сейчас и машут руками, в самом деле могут ее ударить. Жерди были только срублены в ближнем лесу, стволы нежно серели и просвечивали изнутри густой и сочной зеленью. Вдоль каждого ствола эта зелень высыпала клювиками зеленых почек.

Дед суетился, замахивался на корову фуражкой, ругался и был очень активен; однако сразу бросалось в глаза, как он похудел, сморщился и обвис. Наконец корова сдвинулась с места и потащила воз жердей на улицу Салтыкова-Щедрина.

— Здорово, Семенов, — сказал дед, вроде бы и не удивившись встрече. — Видал, я теперь на почте служу вместо Дарьи. Из той ямы она не вышла.

— Вижу, дедушка.

— А ты-то как? — не мог он оторвать голодных глаз от ребристого вещмешка. — Ты справный стал.

— Зайди после работы, дед. Посидим, пообедаем,

поговорим. — Семенов не мог сдержаться и добавил: — Тушенка есть, омлет и сгущенное молоко.

Свернув во двор райтопа, Семенов сразу увидел ма гь.

Она стояла на крыльце, будто ждала его. На ней было темное платье в мелкий цветочек, на голове белая стираная марлечка.

Случилось так, что мне еще раз пришлось встретиться с Семеновым. Это было в самом конце войны. Тогда я и узнал его историю. Звали его действительно Анатолием, отчества я точно сейчас не помню, но фамилия его была точно Семенов, и сам он был точно такой.
